В. ЗЛОБИН

ТЯЖЕЛАЯ ДУША



1970

В. ЗЛОБИН

ТЯЖЕЛАЯ ДУША

(Посмертное издание)



Вашингтон, Изд. Русского книжного дела в США
Victor Kamkin, Inc.

1970

Книга отпечатана в количестве 1000 экземпляров

Printed in Spain

Depósito legal: M. 17.445 - 1970

Impreso en Talleres Gráficos de «Ediciones Castilla»-Maestro Alonso, 23-Madrid-2

Порой всему, как дети, люди рады
И в праздности своей живут веселой;
О, пусть они смеются — нет отрады
Смотреть во тьму души моей тяжелой.

З. Гиппиус.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая книга не есть биография З. Н. Гиппиус в том смысле, в каком это обычно принято понимать. В своей книге «Д. С. Мережковский», озаглавленной первоначально «Он и мы» (это заглавие было по просьбе издателя изменено), Гиппиус рассказывает о наиболее важных событиях своей жизни. Как общее правило, все мемуары, что бы там ни говорили, —«Dichtung und Wahrheit», вымысел и правда. Кое-что в них верно, кое-что забыто, а кое-что выдумано. Однако, вымысел здесь не следует понимать как искажение или подмену действительности. Это скорее некая художественная правда, какая в иных случаях к действительности ближе, чем воспроизведение фактов чисто фотографическое. Пример — «Детство и отрочество» Л. Толстого. Сравните эту книгу с его точной автобиографией и вы увидите, где настоящий, живой Толстой.

Что касается мемуаров Гиппиус, то едва ли в них преобладает вымысел. Но что это произведение художественное — не подлежит сомнению. Добавить к нему вряд ли что-либо возможно. Но кое о чем Гиппиус не то что забывает, а сознательно умалчивает о том, что она называет «Главное». Для непосвященных пробел незаметен. Но Темира Андреевна Пахмус, профессор Иллинойского университета, которой я открыл мой архив, упоминает об этом «Главном» в своей книге «З. Н. Гиппиус — литературный критик» (книга должна выйти в ближайшее время). И это не единственная книга о Гиппиус. На ту же тему — докторская диссертация Аллы

Дмитриевны Кульман и две известных мне работы о ее стихах — Олега Масленикова и Джемса Барлея — последняя об их ритмической структуре. Есть еще одна или две книги о поэзии Гиппиус, заглавия которых я не помню. Вообще, Гиппиус начинают интересоваться, особенно в Америке, и гораздо больше, чем Мережковским. И это не случайно.

Да не подумает читатель, что я не ценю литературный талант Гиппиус. Только я отношусь к ее произведениям, главным образом к стихам, как к своего рода дневнику (кстати, ее четвертая, изданная в Берлине, книга стихов так и озаглавлена «Дневник»). Но тема моей книги совершенно другая — не стихи Гиппиус, а сама Гиппиус, ее «тяжелая душа», как она ее называет, и с какой она находилась в непрерывной борьбе.

Порой всему, как дети, люди рады,
И в легкости своей живут веселой;
О, пусть они смеются! Нет отрады
Смотреть во тьму души моей тяжелой.

Мы привыкли к ледяному тону, к жестокому спокойствию ее стихов. Но среди поэтов XX века по силе и глубине переживаний вряд ли найдется ей равный. Напряженная страстность некоторых ее стихотворений поражает. Откуда этот огонь, эта нечеловеческая любовь и ненависть?

Она боролась за полноту бытия, за право быть счастливой и свободной:

Ищу опасное и властное
    Слиянье всех дорог,
И все живое и прекрасное
    Приходит в краткий срок.

И если правда здешней нежности
    Не жалость, а любовь, —
Всесокрушающей мятежности
    Моей не прекословь.

Кстати, за это «опасное и властное слиянье всех дорог» на меня обрушилась ныне покойная Ариадна Владимировна Тыркова, автор замечательной книги о Пушкине. Я имел неосторожность опубликовать в одной из моих статей интимную записку Философова к Гиппиус. Тыркову это возмутило. Неодобрительно отнесся к этому и мой собрат по перу, поэт и критик Юрий Константинович Терапиано. Его статья «Памяти Гиппиус» в номере 2386 «Русской Мысли» от 13 ноября 1965 г. — явно камень в мой огород. Терапиано пишет: «Об отношении Гиппиус к любви тоже после ее смерти писали очень много, иногда — возмутительно нецеломудренно, вплоть до публикации самых интимнейших ее писем и писем к ней». Что же мне делать? Сжечь эти письма я не имею права. Я обратился за советом к другому моему коллеге, профессору Вашингтонского университета, Георгию Иваску. Тот решительно ответил: «Запечатать на 50 лет». Легко сказать, на 50 лет! А что через 50 лет будет? Профессор Владимир Васильевич Вейдле как-то в разговоре сказал, шутя, что в 2000-ом году человечество отпразднует третье тысячелетие христианства выпуском марки с изображением Христа и с надписью «Visit Jerusalem».

Я очень уважаю Владимира Васильевича, но он романтик и оптимист. Нет, мне рисуется картина иная: не только никаких марок с Христом не будет, но даже если бы Он в этот день сошел сам с неба на землю, Его даже не заметили бы, не заключили бы в тюрьму и не явился бы к Нему для разговора Великий Инквизитор. В лучшем случае Он попал бы в палаццо Армии спасения, где Его, после дезинфекционного душа накормили бы как в лучшем ресторане и уложили бы спать на мраморные нары.

«Сын Человеческий, пришед, найдет ли веру на земле?» А от этого нас отделяет даже не 50, а всего 33 года!

О, конечно, человечеству готовится необыкновенное будущее. Даже представить себе невозможно, чего только люди не изобретут. Но от наук гуманитарных, от искусства, от музыки, от поэзии — не останется ничего. И наступление

этого нового «ледникового» периода чувствуется уже сейчас. Все чаще мелькают в толпе так называемые «битники», первые жертвы, — потерявшие себя волосатые мальчики с сумасшедшими глазами.

И вот я принимаю решение: не взирая на критику, по существу благожелательную, моя книга о Гиппиус выйдет без единой купюры, ни одного слова не будет из нее выкинуто или заменено другим.

Пусть она будет полна противоречий — самых невозможных, самых невероятных неожиданностей. Меня это не смущает. Тем совершеннее она отразит живую душу Гиппиус, ее связь с жизнью и волю к борьбе.

Зинаида Гиппиус имеет право на свободу слова, и горе тому, кто на это право посягнет.

Глава 1

З. ГИППИУС И Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ

I

Двадцать два года прошло — не такой уж большой срок — а кажется вечность — со смерти Зинаиды Николаевны Гиппиус (она умерла в Париже 9 сентября 1945 г.), и вот мы уже почти ничего о ней не помним. Да и как помнить: что мы о ней знаем? Кое-какие внешние, притом не всегда даже главные факты, о которых она рассказывает в своей книге о Мережковском. Но и в ней она старается говорить о себе возможно меньше, сознательно отодвигая себя на второй план. Она это делает, впрочем, не из скромности, — она себе цену знает, — а из какого-то, ей самой непонятного, желания оставаться в тени.

Об этом нельзя не пожалеть: как личность, как поэт и писатель она явление не менее оригинальное, не менее значительное, чем затмивший ее своей славой Мережковский.

Судьба этой женщины необычайна. Да, между той Зинаидой Николаевной, которую мы знаем, и той, какой она была на самом деле, — пропасть.

Она оставила после себя записные книжки, дневники, письма. Но главное — стихи. Вот ее настоящая автобиография. В них — вся ее жизнь, без прикрас, со всеми срывами

и взлетами. Но их надо уметь прочесть. Если нет к ним ключа, лучше их не трогать: попадешь в лабиринт, из которого не выбраться.

*

Она родилась 8-го ноября 1869 г. в городе Белеве, от чахоточного отца, семья которого переселилась в 16-ом веке из Германии в Москву, и прелестной женщины, сибирячки Анастасии Степановой.

Не март девический сиял моей заре,
Ее огни зажглись в суровом ноябре.

Странная девочка, на других не похожая. Крошечная, крошечная, в розовой вязанной кофточке, с вечно растегнутой последней пуговицей. И какая серьезная.

Родителей она обожала. Ее привязанность к ним была такая страстная, что когда по настоянию отца ее отдали в Киевский институт, она не могла перенести разлуки, заболела и почти все время провела в институтской больнице. Разлука для нее — хуже смерти.

Живые, бойтесь земных разлук,

скажет она потом, зная с детства, что

Любовь не стерпит, не отмстив,
Любовь отнимет свои дары.

«Я с детства ранена смертью и любовью», отмечает она в 1922 г. в своем «Заключительном Слове». А в книге о Мережковском, рассказывая о своем отце, она пишет: «Я его так любила, что иногда, глядя на его высокую фигуру, на него в короткой лисьей шубке, прислонившегося спиной к печке, думала: «А вдруг он умрет? Тогда я тоже умру».

Он умер, когда ей едва минуло одиннадцать лет. Но уже

раньше, по поводу смерти в их доме одной дальней родственницы, она замечает: «Смерть тогда на всю жизнь завладела моей душой». Смерть отца как бы начало ее собственной смерти, которую она тогда ощутила впервые со всей ей доступной реальностью. Не успела родиться, как уже начала умирать. Недаром прозвали ее в Киевском институте: «Маленький человек с большим горем».

После родителей она больше всего любит свою единственную «нянечку Дашу» — Дарью Павловну Соколову.

Она никогда не узнает,
Как я любил ее,
Как эта любовь пронзает
Все бытие мое.

Любил ее серое платье,
Волос ее каждую прядь
Но если б и мог сказать я,
Она б не могла понять.

Нянечка Даша зовет ее «Батюшка белый» и носит перед сном на руках вокруг зала. Она же водит ее гулять в Летний сад. Отец З. Н. дважды пытался обосноваться в столице, но петербургского климата не выдерживал и переводился в провинцию, во второй раз в Нежин, город Гоголя, где вскоре и умер от острого туберкулеза.

«В первый раз мы жили там, когда мне было всего четыре года», вспоминает З. Н. о своем «первом Петербурге». «Мне помнятся только кареты, в которых мы ездили, да памятник Крылова в Летнем Саду, куда меня водила няня Даша и где играло много детей. Впрочем, еще Сестрорецк, лес, море и белые снежинки, падавшие на мое белое пальто (в мае)».

Я претепло одета,
Под капором коса.
Иду — теперь не лето —
Всего на полчаса.

Но однажды няня Даша повела ее не в Летний Сад, а в Гостинный двор — покупать куклу. Был конец марта, и не белые снежинки падали на ее белое пальто, а громадные хлопья мокрого снега, похожие на грязные носовые платки. Но «маленького человека» ждало разочарование — первое в жизни. Тот, по ее словам, «удар о стену, которую мы, может быть, перейдем только после смерти». Вместо куклы она пожелала живую девочку, находившуюся в магазине, да так настойчиво, что няня Даша с трудом увела ее домой. «Желанья были мне всего дороже...»

В этом ее первом желании, как в фокусе, — все, о чем она потом в жизни мечтала и от чего не могла, не умела (а может быть, просто, в глубине души, не хотела) отказаться. За несколько недель до своей смерти, она, полупарализованная, на обложке книги, которую перелистывает — антологии русской поэзии «Якорь» — левой рукой, справа налево, так что прочесть написанное можно только в зеркале, нацарапывает:

По лестнице... ступени все воздушней.
Бегут наверх иль вниз — не все ль равно?
И с каждым шагом сердце равнодушней
И все, что было — было так давно...

Эта беспомощная, последняя попытка преодолеть свою слабость — одно из бесчисленных доказательств ее воистину необыкновенной живучести: «Неугасим огонь души».

Но кто бы мог предположить, что в этом хрупком, эфемерном, не от мира сего существе, какой она казалась, такая сила?

II

Первая исповедь. О ней — в «Заключительном Слове». Бедная, на деревенскую похожая, церковь. За высокими окнами — верхушки зеленеющих деревьев. Тишина. Весна... Кстати, как это до сих пор никто из критиков не отметил

ее замечательный язык — ясный, острый, сверкающий как чистейшей воды алмаз. По поводу этой своей первой исповеди она пишет: «Но искупленья я еще не понимаю» и прибавляет: «Я, очевидно, не понимаю и покаяния».

Теперь, когда ее «труды и дни» известны, это признание особенно поражает, чтобы не сказать потрясает. За всю ее долгую жизнь — ни одного факта, ни даже намека на факт, который свидетельствовал бы, что она хоть раз чистосердечно в чем-нибудь покаялась, смирилась, признала себя виноватой или хотя бы просто попросила у кого-нибудь прощения, извинилась. Нет — ни смирения, ни покаяния. Она словно боится, что смирившись, покаявшись, она потеряет тот внутренний «упор», ту от ее сознания скрытую «пружину», благодаря которой она, плохо ли, хорошо ли, но продолжает держаться на поверхности, когда другие камнем идут ко дну.

Но слабости смирения
Я душу не отдам...
Не дам Тебе смирения,
Оно — удел рабов.

В своей книге о Мережковском она вспоминает, что когда ее отец был ею недоволен, он переставал обращать на нее внимание, и она знала, что **необходимо** (ее слово) идти просить прощения. Но о том, каких ей это стоило усилий, она молчит. И что она шла и прощение просила свидетельствует о ее действительно безграничной к отцу любви.

Стихи писать она начала семи лет. Вот ее первое стихотворение:

Давно печали я не знаю
И слез давно уже не лью.
Я никому не помогаю,
Да никого и не люблю.

Людей любить — сам будешь в горе.
Всем не поможешь все равно.
Мир что большое сине-море
И я забыл о нем давно.

А вот, для сравнения, другое, написанное в конце жизни:

Я на единой мысли сужен,
Смотрю в свекающую тьму,
И мне давно никто не нужен,
Как я не нужен никому.

Та же тема, тот же размер с неизменным мужским родом — то же отношение к миру, обиженно-презрительное, как у лермонтовского Демона.

В своей книге о Мережковском она так определяет свою натуру: «У меня остается раз данное, все равно какое, но то же. Бутон может распуститься, но это тот же самый цветок, к нему ничего нового не прибавляется».

Все, что она знает и чувствует в семьдесят лет, она уже знала и чувствовала в семь, не умея этого выразить. «Всякая любовь побеждается, поглощается смертью», записывала она в 53 года («Заключительное Слово»). И если она четырехлетним ребенком так горько плачет по поводу своей первой любовной неудачи («живая кукла»), то оттого, что с предельной остротой почувствовала, что **любви не будет,** как почувствовала после смерти отца, что умрет.

Не менее интересно и ее второе стихотворение, написанное два года спустя, то есть — когда ей было девять лет.

Довольно мне тоской томиться
И будет безнадежно ждать!
Пора мне с небом примириться
И жизнь загробную начать.

У Лермонтова:

Хочу я с небом примириться...

Даже, если она в девять лет «Демона» читала, что не невозможно, — это не подражание. В 1905 г. она пишет:

Мне близок Бог, но не могу молиться,
Хочу любви, и не могу любить.

У Лермонтова:

Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться.

И таких совпадений много. Недаром ее так к Лермонтову влечет. Некоторые его стихотворения она даже помнит наизусть, в то время как свои, за редкими исключениями, — никогда.

О ее детстве и первых юношеских годах мы не знаем почти ничего. Время, в каком она родилась и выросла — семидесятые-восьмидесятые годы, не наложило на нее никакого отпечатка. Она с начала своих дней живет как бы вне времени и пространства, занятая чуть ли не с пеленок решением «вечных вопросов». Она сама над этим смеется в одной из своих пародий, писать которые мастерица.

Решала я — вопрос огромен —
Я шла логическим путем,
Решала: нумен и феномен
В соотношении каком?

Вопросы общественные? Какая скука! И когда на ее горизонте появляется двадцатитрехлетний Мережковский со своим отвлеченным гуманизмом и своими, даже для того времени, слабыми стихами, она в первую минуту инстинктивно от него отшатывается. Ведь не только стихи его слабы, но он и верхом не ездит и не танцует.

Она — человек страстей, и страсти пробуждаются в ней рано. Властвовать собой она научится в совершенстве, но не сразу. Уже ребенком она лжет, притворяется опасно больной. От этого страдает ее мать, которую она любит больше всего на свете. Но она ее мучит и мучится сама. О чем она мечтает?

Мне надо то, чего нет на свете.

Строчка эта когда-то облетела всю литературную Россию, и с нее начинается поэтическая слава Гиппиус. Но ей, чело-

веку живому, с этим ни под каким соусом несъедобным, твердокаменным идеалом делать нечего. Нет, о чем она мечтает на самом деле?

Она в этом не признается. Лишь замечает вскользь:

Сны странные порой нисходят на меня.

Странные — чем? Почему? Она молчит. Но за нее отвечает Лермонтов.

К тебе я буду прилетать
....
И на шекловые ресницы
Сны золотые навевать.

В стихотворении «Гризельда», написанном приблизительно тогда же, когда и «Мне нужно то, чего нет на свете», она говорит, что кто-то — во сне или наяву — ей являлся. Она даже знает — кто, ибо с удивлением спрашивает:

О, мудрый Соблазнитель,
Злой Дух, ужели ты —
Непонятый Учитель
Великой красоты?

Есть ли за этим какая-нибудь реальность — об этом ниже. Но в те годы, в дни ее ранней молодости, проблема зла не очень ее беспокоит. И когда она встречается с Мережковским, она еще не знает, не решила — Мадонна она или ведьма? И то, и другое ее прельщает. С выбором она, впрочем, не торопится: оба начала уживаются в ней прекрасно. А Мережковскому сочетание противоположностей, главным образом, и нравится.

III

Эта встреча — событие в ее жизни единственное.

Она ее считает провиденциальной. И она права. Они были действительно созданы друг для друга. Но не в том смысле,

в каком это обычно принято понимать, то есть — не в смысле романтическом. Сравнивать их с Филемоном и Бавкидой, Дафнисом и Хлоей или с Афанасием Ивановичем и Пульхерией Ивановной можно лишь по наивности или незнанию.

Происходит эта встреча в Боржоме, в одно из воскресений конца июня 1888 г. на танцевальном вечере в ротонде. Кто-то из ее поклонников-гимназистов представил ей Мережковского. «Я встретила его довольно сухо, — пишет она в своих воспоминаниях, — и мы с первого же раза стали... ну, не то, что ссориться, а что-то вроде». Еще до встречи ей как-то попадается «Живописное Обозрение» с его стихами, которые ей не нравятся. А ему, уже в Боржоме — ее портрет, при взгляде на который он восклицает: «Какая рожа!»

«Однако, после первой встречи, мы стали встречаться ежедневно, — продолжает она. — Но почти всегда разговор наш выливался в спор».

С гимназистами ей было куда привольнее, веселее, а главное — спокойнее. Не было того вечного напряжения и страха, который она, неизвестно почему, испытывала в присутствии Мережковского и который ее смущал. «Любопытно, что у меня была минута испуга, — признается она. — Я хотела эти свидания прекратить, и пусть он лучше уезжает. Что мне с ним делать?»

Она уже бывала, и не раз, влюблена, знала что это, а ведь тут — совсем что-то другое. Она так и говорит: «И вот, в первый раз с Мережковским здесь у меня случилось что-то совсем ни на что не похожее».

Это «ни на что не похожее» происходит как бы само собой, без какого-либо участия ее воли. 11-го июля, лунной ночью, во время детского танцевального вечера в ротонде, она с Мережковским как-то незаметно оказывается вдвоем на дорожке парка, что вьется по берегу Боржомки. «Я не могу припомнить, как начался наш странный разговор, — описывает она эту ночную прогулку. — Самое странное — это, что он мне тогда не показался странным. Мне уже не раз делали, как говорится, «предложение», еще того чаще слы-

шала я «объяснения в любви». Но тут не было ни «предложения», ни «объяснения». Мы, и главное оба — вдруг стали разговаривать так, как будто давно уже было решено, что мы женимся и что это будет хорошо».

Так же, без участия ее воли, словно во сне происходит «само собой», в Тифлисе, утром 8-го января 1889 г. венчание. «Я была не то в спокойствии, не то в отупении, — говорит она. — Мне казалось, что это не очень серьезно».

Вечером Мережковский уходит к себе в гостиницу, а она ложится спать, забывая, что замужем. И только на другое утро едва вспоминает, когда ей мать через дверь кричит: «Ты еще спишь, а уж муж пришел! Вставай!»

И она восклицает в тон Флоберу:

«Муж? Какое удивление!»

IV

Что было бы с ними, если б они не встретились?

Он, наверное, женился бы на купчихе, наплодил бы детей и писал бы исторические романы в стиле Данилевского. Она... о ней труднее. Благодаря ее мужественности и динамизму — возможностей у нее больше. Спортсменка — она любит риск и во всем старается доходить до конца. Как раз то, к чему он неспособен совершенно. Как сказано у него в паспорте: «К отбыванию воинской повинности признан негодным».

Может быть, она долгое время находилась бы в неподвижности, как в песке угрузшая, невзорвавшаяся бомба. И вдруг взорвалась бы бесполезно, от случайного толчка, убив несколько невинных младенцев. А может быть и не взорвалась бы: какой-нибудь «специалист-техник», вроде Рюрика Эдуардовича Оказионера *, «спас бы ее, разрядив духовно, и она продолжала бы мило проводить время в обществе гим-

* Так в одном из ее неизданных рассказов, «Наверно», — называется черт.

назистов и молодых поэтов... На эту тему можно фантазировать без конца. Но одно несомненно: ее брак с Мережковским, как бы к этому браку ни относиться, был спасителен: он их спас обоих от впадения в ничтожество, от небытия метафизического.

Через несколько недель после свадьбы они уезжают в Петербург, где устраиваются сначала в маленькой квартире на Верейской улице, а потом в знаменитом «доме Мурузи» на углу Литейного проспекта и Пантелеймоновской. Их совместная жизнь длится без малого пятьдесят три года — до его смерти.

Как это ни странно, по крайней мере на первый взгляд, в их браке руководящая, мужская роль принадлежит не ему, а ей. Она очень женственна, он — мужествен, но в плане творческом, метафизическом, роли перевернуты. Оплодотворяет она, вынашивает, рожает он. Она — семя, он — почва, из всех черноземов плодороднейший. В этом, и только в этом смысле он — явление исключительное, небывалое, единственное. Его производительная способность феноменальна. Гиппиус угадывает его настоящую природу, скрытое в нем женское начало, и лишь по неопытности — ведь ей всего девятнадцать лет — не чувствует внутренней слабости за внешним блеском, которым он ослепляет «литературный» Боржом (его ослепить, кстати, было нетрудно). Его восприимчивость, его способность ассимилировать идеи граничит с чудом. Он «слушает порами», как она говорит, и по сравнению с ним она — груба. Но у нее — идеи, вернее, некая, еще смутная не нашедшая себе выражения реальность, как бы ни на что не похожая, даже на рай, — новая планета: «Какие живые, яркие сны!» — это все, что она может сказать.

Он к ее стихам прислушивается внимательно и недаром так дорожит утренними с ней прогулками по Боржомскому парку. Любит их и она. В этих прогулках, разговорах, даже ссорах — начало их сближения, того «духовного брака», потомство от которого будет «как песок морской».

В первый же год после свадьбы, в Петербурге, происхо-

дит одна важная перемена: он бросает стихи и начинает писать прозу. Она стихи не бросает (не бросит никогда), но тоже большую часть времени посвящает прозе. Эта ее попытка — не первая. Она уже писала дневники, не говоря о письмах (которые часто — образец эпистолярного искусства). Но теперь она прозу пишет главным образом из-за денег, чтобы дать Мережковскому возможность свободно работать над его первым романом «Юлиан Отступник».

Откуда он, этот «Юлиан» и его продолжение «Леонардо да Винчи» — вторая часть ставшей знаменитой трилогии?

«Идея "двойственности", которую он развивал в романе "Леонардо" — казалась мне фальшивой, — пишет она в своих воспоминаниях, — и я принялась ему это доказывать». Напрасно: идея — ее, и у нее им взята.

О, мудрый Соблазнитель,
Злой Дух, ужели ты —
Непонятый Учитель
Великой красоты.

И «Юлиан» и «Леонардо» вышли из этого четверостишия, случайно оброненного ею зерна. Но когда Мережковский был еще увлечен «двойственностью» («бездна вверху, бездна внизу») она от этой идеи уже отошла, поглощенная другой, ставшей потом главной идеей его жизни.

Что она старается эти его «опоздания» объяснить, — а они понятны: даже в плане духовном так сразу не родишь — доказывает, что она их взаимоотношений не понимает. Ей кажется, что те же идеи — в нем, но только до его сознания они доходят позже. У него по ее теории — «медленный и постоянный **рост** (курсив ее), в одном и том же направлении, но смена как бы фаз, изменение (без измены)». Смена фаз! Но дело ведь не в процессе беременности, а в обусловливающем этот процесс оплодотворении. И если бы она была в самозарождении его идей так твердо убеждена, то не искала бы этому все время доказательств.

Конечно, сказать, что каждая его строка внушена ею, —

нельзя. Она дает главное — идею, а там уже его дело, он свободен оформить, развить ее по-своему. Роль его не менее значительна, не менее ответственна, чем ее. Только это — не та, какую ему обычно приписывают. А если трудно установить с точностью момент зачатия физического, то момент духовного оплодотворения — неуловим совершенно.

V

«Что касается меня, то я в это лето (1905 г.) вдруг погрузилась в одну мысль, которая сделалась чем-то у меня вроде idée fixe и моя idée fixe была — «тройственное устройство мира». Это и есть та идея, которая в ней зрела, когда Мережковский еще увлекался «двойственностью».

Он эту новую идею тотчас же подхватывает. Еще бы! Он ее «так понял подкожно, изнутри, — радуется Гиппиус, что ясно: она, конечно, была уже в нем еще не доходя пока до сознания». Как она скромна! Эта идея ей стоила чуть ли не спасения души, и если она не погибла, то исключительно благодаря чуду. Но ей все равно. Она свое дело — дело своей жизни — сделала. Очередь за ним. И, как свидетельствует ее запись, он оказался на высоте.

«Он дал ей (этой идее) всю полноту, преобразил ее в самой глубине сердца и ума, сделав из нее религиозную идею всей своей жизни и веры — **Идею Троицы, Пришествия Духа и Третьего Царства или Завета** (курсив ее). Все его работы последних десятилетий имеют эту — и только эту — главную подоснову, главную ведущую идею».

Яснее сказать нельзя. Конечно, ни один из шестидесяти двух томов сочинений Мережковского сочинением Гиппиус не становится. Но по существу это не меняет ничего. А «кухня» никого не касается. Это дело — личное, интимное. И слава Богу, что у писателя Мережковского такая умная жена.

Есть еще одно доказательство влияния Гиппиус на твор-

чество Мережковского — некий, Мережковскому совершенно несвойственный запах —

Как будто тухлое разбилося яйцо,
Иль карантинный страж курил жаровней серной —

каким иногда веет от его вполне благочестивых произведений.

Когда в 1903 году Победоносцев запретил Петербургские религиозно-философские собрания, то, может быть, одной из причин был этот неуловимый запах, который он почувствовал в царившей на собраниях атмосфере свободы.

Для первого заседания этих собраний, 29-го ноября 1901 г., происходивших в зале Географического общества на Фонтанке, Гиппиус заказывает себе черное, на вид скромное, платье. Но оно сшито так, что при малейшем движении складки расходятся и просвечивает бледнорозовая подкладка. Впечатление, что она — голая. Об этом платье она потом часто и с видимым удовольствием вспоминает, даже в годы, когда, казалось бы, пора о таких вещах забыть. Из-за этого ли платья, или из-за каких-нибудь других ее выдумок, недовольные иерархи, члены Собраний, прозвали ее «белая дьяволица». Но это скорее — дурной вкус и легкомыслие. Ее кумовство с чертом выражалось иначе.

Верит ли она в Бога? Вопрос как будто неуместный. Но при ближайшем знакомстве с ее «трудами и днями» он возникает сам собой. Так сразу на него, однако, не ответишь. Одно можно сказать: в черта она верит. Это — твердо. Вот, как верил Гоголь, Достоевский и как **не** верил Толстой. Черт для нее — существо реальное, одно из ее главных, если не главное, действующих лиц. Впрочем, в ее произведениях он большей частью в тени, за кулисами и показывается лишь изредка, кроме тех случаев, конечно, когда рассказ или стихотворение ему посвящены *. Но нельзя себе представить

---

* Как например, в рассказе «Иван Иванович и черт».

такого ее серьезного метафизического письма или разговора, где тема о черте не занимала бы первого места.

Она сама рассказывала, как в молодости сделала себе однажды ожерелье из обручальных колец ее женатых поклонников. Отзвук этого — в ее стихотворении «Мудрость», где она, под видом чертовки, крадет «у двух любовников любовь».

Сидят целуясь. А я украдкой
Как подкачусь, да сразу — хвать!
Небось друг друга теперь не сладко
Им обнимать да целовать!

Вот чему ее научил «Непонятый Учитель». И с тем же легкомыслием, с каким она описывает свое для Религиозно-философских собраний придуманное кафешантанное платье, она в своих воспоминаниях приводит сказанную ею на паперти после венчания фразу: «Мне кажется, что ничего и не произошло особенного», на что один из шаферов отвечает: «Ну, нет, очень-таки произошло, и серьезное».

В этом она, впрочем, скоро и сама убедится. «Нет, Дима, так тебя любить, как я люблю Дмитрия, я не могу» (письмо Д. Философову, 1905 г.). «Ведь мы — одно существо», говорит она о себе и Мережковском уже после его смерти. Это и непонятно и неприятно, но за этим определенная реальность. И если представить себе Мережковского как некое высокое дерево с уходящими за облака ветвями, то корни этого дерева — она. И чем глубже в землю вростают корни, тем выше в небо простираются ветви. И вот некоторые из них уже как бы касаются рая. Но что она в аду — не подозревает никто.

VI

Лето 1905 г. Мережковские проводят на даче в имении «Кобрино» по Варшавской железной дороге. Оттуда, в июле, она пишет Д. Философову на 32-х страницах письмо, — он

живет с ними, но уехал на месяц к себе в имение повидаться с матерью. Это письмо делает честь не только ее уму, но и мужеству, с каким она обнажает свою душу.

«Знаешь ли ты, или сможешь ли себе ясно представить», — спрашивает она Философова, — что такое **холодный** человек (курсив Гиппиус), холодный дух, холодная душа, холодное тело — все холодное, все существо сразу? Это не смерть, потому что рядом, в человеке же, живет ощущение этого холода, его «ожог» — иначе сказать не могу. Смерть лучше, когда она — небытие просто, и холод ее только отсутствие всякой теплоты; а этот холод — холод сгущенного воздуха, и бытие — как бытие в Дантовом аду, знаешь, в том ледяном озере...»

Вот, когда она узнала, наконец, что такое «снеговой огонь», о котором ее душа мечтала «с вещей безудержностью».

Душа мечтает с вещей безудержностью
О снеговом огне.

И вот отчего веет иногда от Мережковских таким холодом — холодом междупланетных пространств, от которого льнущие к ним души замерзают, как в зимнюю стужу воробьи на телеграфных проводах. Но того, каким страданием был этот холод для них самих, не представляет себе никто.

«Если и не поймешь — поверь мне, Дима, — продолжает она, — очень это большое страдание... Я холодная — или мы холодные — мы чисто-холодные, уже без всякого призрака, подобия вечно-ощутительной и ощущаемой движущейся вперед любви к человеку, к людям, к миру. Мы без жалости, без мягкости, без нежности. Оттого и страдание такое... Помнишь те «вечные муки» ада старца Зосимы, его слова о душе, уже сознающей, что избавление — любовь, понимающей любовь, видящей ее — и не имеющей. Вот этот ад у меня теперь на земле».

Можно только удивляться, как она не сошла с ума. Даже если ограничить время ее пребывания в «ледяном озере» сро-

ком с 1905 по 1922 год, когда она, наконец, сказала: «Довольно!», то и тогда получается семнадцать лет. А в «ледяном озере» каждая минута — вечность.

Но тут только ее необыкновенную силу жизни и понимаешь, как и ее здоровый религиозный инстинкт. Казалось бы, когда, как не сейчас, думать о спасении личном? Именно сейчас, именно здесь, в аду, своя рубашка ближе к телу. Но нет, она в первую очередь **думает не о себе.** «Я чувствую, — говорит она, — что об этом надо как-нибудь не словами, чтобы поняла чужая душа». Она — одна из многих: «Говорю о себе — но говорю смело, с правом, потому что и внутренним прозрением, и фактически, реально знаю что не одна я такая душа, с таким страданием, а другие тоже, много, и сейчас есть, а потом еще больше их будет...»

Что дело спасения — дело общее, **«соборное»,** ей эта истина известна. Но только здесь, в аду, она ей раскрывается до конца, приобретает новый, неожиданный, единственно действительный смысл. Вся тварь спасается, а раз вся, то и дьявол, ибо и он — тварь, и он Богом создан. И она за дьявола молится.

Для добрых христиан это — кощунство, а ее ад — отвлеченный: слишком много и слишком умно она о нем говорит. В аду либо мычат, либо молчат. Но мы — плохие христиане и, в сущности, не ада боимся, а рая. Рай, при наличии «вечных мук», хотя бы одного грешника, даже осужденного справедливо — рай не вполне, то есть не рай. А от рая настоящего, от «мировой гармонии», нас отделяет невыразимый ужас: оправдание зла.

Но она бесстрашна и, как во всем, до конца идет и в этом. Пусть ее рассуждения об аде длинны — молчать, когда надо, она умеет. Главного она не сказала и не скажет, сколько бы мы ни допытывались. Но если есть в нас хоть капля дерзновения, мы начатую ею картину дорисуем сами.

Дьявол в аду заснул и ему снится райский сон.

И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой.

Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим...

. . . .

Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья.

Что он будет спасен — на это у нее прямых указаний нет нигде, может быть оттого, что все-таки всего она не знает. Но она, вместе с ним, надеется.

Все решено то Духа Свята,
Он держит всех судеб ключи,
Он всех спасет...

Мировая гармония! Вот та райская музыка, какую она слышит в аду сквозь свиной хрип дьявола. И ее она не променяет ни на что на свете, ни на какие «белые одежды», ни на какие чудеса неба и земли.

Мережковский так и умер, не догадавшись, что его прославленная идея Третьего Царства, из которой он, по свидетельству Гиппиус, сделал «религиозную идею всей своей жизни и веры» — **мечта дьявола о мировой гармонии.** Но именно этой своей глубокой, подземной и как бы «антихристианской» основой Мережковский и силен. Перед другими строителями «Града Божия» — отвлеченными идеалистами — у него то преимущество, что те строят на песке или начинают с купола, он же опускается на глубину, на какой «Граду Божию» на земле только и может быть положено прочное основание, — на глубину ада, на дно «ледяного озера».

Его расцвет, пышный и неожиданный, сразу после бегства из России, длится около пятнадцати лет, между 1920 и 1935 гг. Но как раз этот период для Гиппиус — период упадка. На нее точно находит какое-то затмение. Она погружается в полную безнадежность, на самое дно «ледяного озера».

В 1905 г. у нее еще была надежда, или «надежда на надежду», — как она пишет в том же письме Философову в Богдановское. «Не вечна мука, должно быть, — кажущаяся

нам вечной: потому что за мгновением ощущения ее вечности, той же душе дается, в следующее — надежда на надежду на выход».

А теперь — нет даже этого. Время для нее как бы застыло на ощущении вечности муки:

Единый миг застыл и длится,
Как вечное раскаянье.
Нельзя ни плакать, ни молиться,
Отчаянье! Отчаянье!

Когда-то она легкомысленно объявляла:

Приемлю жребий мой — Победность и любовь.

И вот ни победы, ни освобождения, а — ледяная тюрьма, где она, как общипанная райская птица, сидит и удивленно страдает. «Страдания нельзя простить иначе, как оторвавшись от жизни, — записывает она в «Заключительном Слове». — Ибо все страдание — от любви. Всяческой — сознательной и безсознательной притом, потому что всякая любовь (жизнь) есть потеря».

Да верила ли она хоть когда-нибудь в любовь, или затмение на нее нашло уже там, — в вечности?

Кто-то из мрака молчания
Вызвал на землю холодную,
Вызвал от сна и молчания
Душу мою несвободную.

В своем первом, дошедшем до нас дневике, она в марте 1893 г. отмечает: «Да, верю в любовь, как в силу великую, как в чудо земли... Верю, но знаю, что чуда нет и не будет». Через тридцать лет, в «Заключительном Слове», она эту мысль доводит до конца: «Всякая любовь побеждается, поглощается смертью». Смерть — вот за какой, из глубины вечности идущей на нее, тучей скрывается солнце любви.

Его редкие, тусклые, мгновенные лучи она ловит с жадностью:

Господь, Господь мой, Солнце, где Ты?
Душе плененной помоги.

Но эта ее молитва не будет услышана. Впереди еще почти 20 лет жизни. Но ей на земле делать больше нечего.

Ни слов, ни слез, ни вздоха — ничего
Земля и люди недостойны.

И она свой билет — «приглашение на казнь» — почтительнейше Богу возвращает.

И опять вспоминается Лермонтов:

И проклял Демон побежденный
Мечты безумные свои,
И вновь остался он надменный
Один, как прежде, во вселенной,
Без упованья и любви.

Глава 2

МИС ТИФИКАЦИЯ

Удивительно, как вокруг имени людей известных, не говоря уже о прославившихся знаменитостях, создается легенда, ничего общего с их сущностью не имеющая. За примером ходить недалеко: З. Н. Гиппиус.

Принято почему-то считать, что она была рассеяна, бестолкова, вечно все путала и в делах житейских не смыслила ничего, словом — отвлеченная интеллигентка, типа профессора А. А. Мейера, долго не понимавшего, отчего у него болят ноги. А болели они оттого, что он носил два левых сапога.

Приблизительно в этом духе, но с декадентской томностью и неизменными «русалочьими глазами» изображает ее Б. К. Зайцев в своей книге о Чехове.

Чехов, впервые попавший заграницу (он путешествовал со знаменитым Сувориным), встретился в Венеции с Мережковскими. И вот Зинаида Николаевна будто бы ему сказала — Зайцев передает этот разговор в лицах — что они за стол и квартиру платят 18 франков в неделю. Так, по крайней мере, понял Чехов, поспешивший написать об этом сестре в Москву. Потом оказалось, что 18 не в неделю, а в день, — З. Н. напутала, ибо, как замечает Зайцев: «в юности она так же все путала, как и в старости, в Париже».

На самом деле ничего Гиппиус не напутала, а ввела Чехова в заблуждение совершенно сознательно.

«Я просто ничего не забываю», — говорит она в одном из последних стихотворений. Особенно же она запоминала цифры и, при случае, всегда это подчеркивала. Она их любила:

Хочешь знать, почему я весел?
Я опять среди милых чисел.
Как спокойно средь цифр и мер.
Тих и строен их вечный мир.

Да и средства, с какими путешествовали тогда Мережковские, были ограничены. Расходы записывались, и счет, как всегда, вела З. Н. Что стоимость венецианского пансиона была ей известна в точности — сомнению не подлежит. Но она решила над Чеховым подшутить, благо представился случай. Она вообще любила мистифицировать — черта мало кому в ней известная, сближающая ее, странным образом, с А. М. Ремизовым. Недаром говорили о ней в шутку, что она — англичанка, Мис Тификация.

Чехов, восторгавшийся всем заграничным, в частности дешевизной, ее забавлял; забавлял и, кажется, чуть-чуть раздражал. В своих воспоминаниях «Живые лица», она, впрочем, рассказывает не без добродушия, как ему в Венеции все хотелось «на травке» посидеть. Жаль, что Зайцев не перечел этих страниц Гиппиус. О Чехове он, наверно, нового ничего не узнал бы, но о Гиппиус кое-что мог бы узнать, о ее памяти, например.

Как «путаница» произошла — представить себе не трудно. Но важен смысл «шутки», а он несомненно был такой: «Пусть я напутала, но вы то, Антон Павлович, могли бы сообразить сами, что жить в Венеции, в хорошей гостинице, на всем готовом, на шесть гривен в день, да еще вдвоем, ни при какой дешевизне невозможно».

Одной из частых жертв З. Н. был Мережковский.

Однажды, уже в эмиграции, в Париже, какая-то дама, бывавшая одно время у Мережковских на воскресеньях, прислала им в подарок книгу-роман, непонятно зачем ею напи-

санный. Он назывался «Несквозная нить» и был какой-то странный.

Когда, спустя несколько дней, Мережковский собрался ей писать благодарственное письмо — случай чрезвычайно редкий — оказалось, что ни ее имени, ни ее отчества он не знает. Он обратился за справкой к З. Н. Та посмотрела на него с нескрываемым презрением:

— Ах, Дмитрий, ты никогда ничего не знаешь. Ее зовут... Эмилия Дионисьевна.

— Дионисьевна? — переспросил Мережковский. — Так таки Дионисьевна?

— Ну да. Что тут необыкновенного?

Конечно, ни Эмилией, ни тем более Дионисьевной даму не звали. Гиппиус все выдумала. Но Д. С., доверявший ей слепо и шуток не понимавший, так и написал: «Глубокоуважаемая Эмилия Дионисьевна...»

В другой раз З. Н. «подарила» Мережковскому два своих стихотворения, очень ему нравившихся. Предпослав одному из них длиннейший эпиграф из Апокалипсиса, он их включил в собрание своих стихов. Но, «забыв» о подарке, напечатала эти стихотворения в своей книге и З. Н. Любопытно, что никто до сих пор этой «шутки» не заметил. А что это стихи Гиппиус — видно сразу. Среди стихов Мережковского они — как живые розы среди бумажных.

В эмиграции она раз послала, через Г. В. Адамовича, несколько стихотворений за подписью В. Витовт в «Новый Корабль», ближайшей сотрудницей которого состояла. Одно из них было напечатано во втором номере. Но авторство Гиппиус открылось совершенно случайно. Она, должно быть, не расчитывала, что стихи будут напечатаны, и хотела сконфузить слишком разборчивую редакцию, объявив, что Витовт — это она.

Со своей приятельницей, шведской художницей Гретой Герель, гостившей у них в Париже, она, как маленькая девочка, играет в прятки, прячась за портьеры. Есть фотография 1907 г., где она снята вместе с несколькими друзьями,

корчащая рожу и высовывающая язык. А вот другая невинная шутка: однажды утром, на вилле «Эвелина», которую Мережковские снимали в Приморских Альпах, в городке Грассе (Grasse), З. Н. говорила по телефону, находившемуся в вестибюле. Сначала никто не обратил на это внимания. Но скоро стали прислушиваться. Разговор был очень оживленный. Однако, невозможно было понять, на каком он происходил языке. По тону казалось, что она то сердится, то любезна, то неожиданно удивлена. Затем раздавался хохот. Когда к стеклянной будке, где находился телефон, подошли (а З. Н. только этого и ждала), то поняли, что она говорит на языке несуществующем. К телефону она, по-видимому, для своих «шуток» прибегала не раз. Один из постоянно бывавших у них друзей рассказывает, что она долго морочила ему голову, звоня каждый вечер по телефону под именем «Бижу», пока, наконец, догадавшись, он не стал вешать трубку.

Странное это было существо, словно с другой планеты. Порой она казалась нереальной, как это часто бывает при очень большой красоте или чрезмерном уродстве. Кирпичный румянец во всю щеку, крашенные рыжие волосы, имевшие вид парика... Одевалась она сложно: какие-то шали, меха, — она вечно мерзла, — в которых она безнадежно путалась. Ее туалеты не всегда были удачны и не всегда приличествовали ее возрасту и званию. Она сама делала из себя пугало. Это производило тягостное впечатление, отталкивало. Потом, в Париже, к ней привыкли, к ее моноклю, к ее голосу морской птицы, к лиловой, мертвецкой пудре и огненному румянцу. Но в России... ведь там румяниться и белиться считалось дурным тоном, особенно так, как это делала она. Не удивительно, что в Петербурге она слыла чуть ли не Мессалиной, — в лучшем случае кривлякой. Даже знавший ее хорошо Д. В. Философов относился к ней с опаской: не дай Бог, что-нибудь выкинет! «Шуток» ее он не любил: от них пахло скандалом.

А какая была умница! И какой замечательный поэт. Но

с ней как с поэтом широкая публика менее всего была знакома. Гиппиус, впрочем, не то что славы, а и тени ее не искала. Была скромна даже черезчур.

...Живу в себе,
А если нет, не все ль равно,
Что кто-то помнит о тебе,
Иль всеми ты забыт давно.

Да, скромна, смиренна, но иногда это смирение — паче гордости. И шутки ее отнюдь не невинные шалости от преизбытка жизненных сил, как шалят дети. Нет, смысл их иной. Цель ее мистификации — отвлечь от себя внимание. Под разными личинами она скрывает, прячет свое настоящее лицо, чтобы никто не догадался, не узнал, кто она, чего она хочет...

Вот она — в своей петербургской гостиной, или в парижском салоне, на знаменитой avenue du Colonel Bonnet. Кто, глядя на эту нарумяненную, надменную, немолодую даму, лениво закуривающую тонкую надушенную папиросу, на эту капризную декадентку, мог бы сказать, что она способна живой закопаться в землю, как закапывались, в ожидании Второго Пришествия, раскольники, о которых, с таким ужасом и восторгом, рассказывает в своей книге «Темный лик» В. В. Розанов? Да, такой, в своем последнем обнажении, была З. Н. Гиппиус — неистовая душа.

Но высшая степень этого неистовства — Царство Духа — Второе Пришествие — открылось ей не через закапывавшихся в землю раскольников, а в другой ереси — в хлыстовстве.

В ее дневнике 1893 г. есть такая фраза: «Пойду к х-там. Ведь я записана в Думе».

Дума эта сбивает с толку, ибо единственная дума, о какой здесь могла бы идти речь, — это известная своей каланчей с шарами — знаками пожаров — петербургская городская Дума. Но что общего у этой думы с хлыстовской ересью? Или «пойду к х-там» значит что-нибудь другое, и Гиппиус

записалась в думский комитет помощи голодающим и работала во время голода на Волге? Но этот вариант отпадает сам собой; запись Гиппиус датирована 1894 годом, а голод на Волге был значительно позже. Да и такого рода общественная деятельность совершенно не в духе Гиппиус. Нет, Дума, о которой она говорит — Дума особая. Какая — узналось случайно.

В одном из романов Александра Амфитеатрова, если не ошибаюсь, в «Разрушенных гнездах», говорится о хлыстовской сатанинской Думе. Вот в этой Думе Гиппиус и была записана. В ее книге «Лунные муравьи» есть рассказ, озаглавленный «Сокатил», где, с большим знанием дела, описано хлыстовское раденье. Больше об этом она никогда нигде не сказала ни слова.

Не слушайте меня, не стоит: бедные
Слова я говорю; я лгу,
А если в сердце знанья есть победные,
Я от людей их берегу.

Но жить в этом герметически закрытом мире она долго не могла, — задыхалась. Нужен был выход. И она его нашла, переключив свое неистовство, вопреки своей идее тройственного устройства мира. Но ничего хорошего из этого не вышло: в России началась революция, за которой последовал большевистский переворот.

Если гаснет свет — я ничего не вижу.
Если человек зверь — я его ненавижу.
Если человек хуже зверя — я его убиваю.
Если кончена моя Россия — я умираю.

Она, действительно, как бы умерла, сошла живой в могилу, закопалась, чтобы вместе с Россией воскреснуть. И, может быть, никто этого воскресения не ждал с таким трепетом, не молился о нем так горячо, как она.

Я от дверей не отойду, —
Пусть длится ночь, пусть злится ветер.
Стучу, пока не упаду,
Стучу, пока Ты не ответишь.

Не отступлю, не отступлю,
Стучу, зову Тебя без страха:
Отдай мне ту, кого люблю!
Восстанови ее из праха!

Верни ее под отчий кров,
Пускай виновна — отпусти ей!
Твой очистительный покров,
Простри над грешною Россией!

И мне, упрямому рабу,
Увидеть дай ее живую...
Открой! Пока она в гробу,
От двери Отчей не уйду я.

Неугасим огонь души,
Стучу — дрожат дверные петли,
Зову Тебя, — о, поспеши!
Кричу к Тебе —, не замедли!

Но ее молитва не была услышана. И неугасимый огонь души слабел с каждым годом:

В новой

Отблеск зеленый в дверном стекле,
Поют внизу автомобили...
Не думаю о моей земле:
Что тут думать? Ее убили.

Вы, конечно, за это меня, —
За недуманье — упрекнете?
А я лишь жду, чтоб прошло три дня:
Она воскреснет — в новой плоти.

И вот, три дня прошло. Но Россия, ради которой она закопалась, не воскресла. Рождалась другая, где ни ей ничто и никто не был нужен, ни она — никому. И пробил час разлуки:

Отъезд

До самой смерти... Кто бы мог думать?
(Санки у подъезда, вечер, снег),
Знаю, знаю. Но как было думать,
Что это — до смерти? Совсем? Навек?

Молчите, молчите, не надо надежды
(Вечер, ветер, снег, дома...)
Но кто бы мог думать, что нет надежды?
(Санки. Вечер. Ветер. Тьма.)

Глава 3

3. ГИППИУС И ПРОБЛЕМА ЗЛА

Разрешима ли проблема зла? В порядке отвлеченно-философском — нет. В религии же, где ей место, зла как проблемы не существует: есть тайна зла, и все, что о ней можно сказать — это, что проникнуть в нее пока не удалось никому. Те же, кто пытался, согласен в одном: зло от познанья ускользает. Оно как песок, что просыпается между пальцев, как вода, что уходит из рук. Оно всегда не то, чем кажется, и его дела так же двусмысленны, как его слова. Оно может прикидываеться и добром. Подделка иногда так искусна, что надо быть святым, чтобы не попасться. По свидетельству искушенных в этом деле монахов, дьявол может принимать образ любого святого, даже самого Христа (единственно, кого он трогать не смеет, — это Матерь Божию). Св. Тереза Авильская рассказывает в своем жизнеописании о проверке, к какой она прибегала, когда у нее бывали видения Христа. Чтобы знать наверно, Он это или дьявол, она делала то, что она называет «acte de défi». Что это такое — объяснено в примечании. Сделать «acte de défi» — значит, по-нашему, показать шиш. И дьявол, при виде его, обращается в бегство.

Каюсь, но во мне этот способ борьбы с нечистой силой вызывает грешные мысли. Почему шиш, а не крест? С каких пор крест потерял свою силу?

Кроме того, почему у Терезы это недоверие к видениям,

осторожность, чуть не страх? Не почудилось ли ей в словах Христа, когда Он, во время этих видений, с нею беседовал, нечто не совсем обычное, странное, может быть даже, в какой-то мере, соблазнительное? И не для того ли, чтобы удостовериться, что она видит и слышит не соблазнителя, а в самом деле Христа, она прибегает к проверке?

Но если смутившие св. Терезу слова действительно слова Христа, в чем сомневаться почти нельзя, — это значит, что не только зло может прикидываться добром, но и добро, в иных случаях, казаться как бы злом. И тогда — относительность добра и зла, безнадежная путаница всех понятий, темный лабиринт, куда неизбежно попадают те, кто подошел к тайне зла слишком близко.

Но душа человека устроена так, что будет добиваться истины несмотря ни на что, хотя бы это ей грозило гибелью. И она права, права не только перед собой, но и перед Богом. Ей велено со злом бороться, но от нее всячески скрывают, что такое зло. Что знает она о его истоках, природе, целях? Ничего. Средневековый лубок о падении ангелов человека современного, с его новым религиозным сознанием, удовлетворить не может. И как заставить не то что такого человека, пережившего за сравнительно короткий срок две мировые войны и революцию, но и ничего не пережившего дикаря, бороться вслепую?

И вот, бедный человеческий разум приходит, в конце концов, к выводу, быть может ложному, но по крайней мере логическому: если зло окружено такой непроницаемой тайной, то, видно, это неспроста. Что-то от нас скрывает. Может быть, в самом деле, «не так страшен черт как его малюют». Отсюда — догадки «кто он»?, мечты и надежды, та романтическая дымка, какой до сих пор окутан образ падшего Ангела. Да, как это ни странно, не взирая на то, что сейчас почти на каждом шагу человек сталкивается с самым недвусмысленным, неприкрытым злом, образ этот по-прежнему влечет сердца с неудержимой силой. Отмечаю противоречие и молчу, потому что его все равно не объясните, даже с по-

мощью первородного греха, о котором, в сущности, тоже никто ничего не знает толком.

«Я тот, кого любят и не знают», — говорит падший Ангел у Виньи. У Лермонтова Демон говорит то, что злому духу говорить полагается:

«Я тот, кого никто не любит
и все живущее клянет...»

Метафизически Виньи глубже, значительнее Лермонтова. Но Лермонтов, как художник, неизмеримо выше. В поэме Виньи много безвкусицы и ненужной бутафории — того, от чего Лермонтов чист совершенно. Но у Лермонтова свои недостатки и уязвимые места, в большинстве случаев даже не его личные, а присущие вообще христианству с его учением о добре и зле. Лермонтов, при всем своем демонизме, в сущности, добрый христианин. И у него все просто, даже, пожалуй, слишком просто, — говорю в плане религиозном, — упрощено, сглажено и, в сущности, как это ни странно, благополучно. Ничего неожиданного, никаких открытий. Порок посрамлен, добродетель торжествует.

И проклял Демон побежденный
Мечты безумные свои.

О чем же он мечтал?

Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру...

Лермонтову эти мечты кажутся безумными, потому что они неосуществимы, невозможны. Но для любви невозможного нет, и Демон в это верит:

И входит он, любить готовый,
С душой, открытой для добра,
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора.

Но «жизни новой желанная пора» еще не пришла. И раскаяние, и клятвы Демона, и жертва Тамары — тщетны, пока не исполнились времена и сроки. В ту минуту, когда величайшее чудо любви и прощения уже готово свершиться, вмешается Ангел, покажет Демону шиш, и тот, все потеряв, останется

Один, как прежде, во вселенной,
Без упованья и любви...

Тамара же будет спасена:

Она страдала и любила,
И рай открылся для любви.

Но в этом торжестве добродетели — глубочайшая внутренняя фальшь. Удивительно, с какой легкостью обошелся Лермонтов с любовью Тамары, не найдя в ней ничего, кроме слабости, заблужденья, — греха.

Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои...

Сомнения — какие, в чем? Не в том ли, что Демон проклят навеки, что нет ему ни прощенья, ни пощады? Но именно эти сомнения, за которые добрый христианин Лермонтов налагает на нее епитимью, лучшее доказательство и мера ее любви. Если Тамара сомневается, не верит в вечное проклятье, то потому, что любит, и ее жертва — жертва во имя любви.

«Узнай, давно ее мы ждали», говорит Ангел Демону, вознося душу Тамары в рай. Но вряд ли она в этом раю блаженствует. Скорее представляешь себе, что для нее этот потухший рай от ада мало чем отличается, ибо там нет того единственного, кого она любит, она с ним разлучена, он — в аду. Такого рая человеческая душа не примет никогда.

Будет ли прощен дьявол? Знать это наверно никто не может — не дано никому. Это — область гаданий, дело совести и внутреннего религиозного опыта. Если бы Лермон-

това спросили, что ждет, по его мнению, дьявола и его ангелов в день Страшного Суда, он, по всей вероятности, не задумываясь, ответил бы, как на уроке Закона Божьего: «Идите от Меня, проклятые, в муку вечную».

Между тем, Церковь, осудившая учение Оригена о спасении дьявола, осудила, может быть, не столько самое это учение, сколько его преждевременность. Такие случаи бывали. И, в частности, отношение в настоящее время католической Церкви к ереси Оригена как будто более терпимое, нежели семь веков назад. Когда в 1953 году в Италии появилась книга ныне покойного католического писателя Джиованни Папини «Дьявол», в которой он совершенно недвусмысленно склоняется на сторону Оригена, можно было ожидать, что книга попадет под индекс, а ее автора отлучат от Церкви. Но ни того, ни другого не случилось. «Л'Осерваторе Романо», официоз Святейшего Престола, ограничился статьей, где поставил вещи на свои места, и на этом дело кончилось.

Но Папини разбил паралич. У него отнялась правая сторона, так что он больше не мог писать. Многие, и, если не ошибаюсь, в том числе он сам, считали, что это ему в наказание за беззаконную попытку раскрыть тайну зла. Насколько, однако, это соответствует действительности — установить трудно. В подобных делах почти все зависит от каких-то неуловимо-личных причин. Известны случаи, когда попытки того же рода более смелые сходили гладко, как например, попытка Зинаиды Гиппиус, речь о которой впереди. Но главное — это, что Папини к тайне зла подошел, в сущности, не так уж близко: он ее, собственно говоря, даже не коснулся, ибо не в спасении дьявола тайна, а в его падении, в том, **почему** он пал, кто он на самом деле. Этим все решается.

Догадок — много. Я остановлюсь на самой для нашего времени характерной, таящей в себе крупицу того яда, от какого гибнут не только отдельные человеческие души, а народы и цивилизации, — на догадке Гиппиус.

В одной из ее книг — «Лунные муравьи» — есть неболь-

шой рассказ «Он — белый». В нем Гиппиус вскрывает свое отношение к проблеме зла.

Начинается рассказ, что уже само по себе соблазн, с эпиграфа из Иоанна Дамаскина: «Он не зол, но добр, ибо Творцом он создан Ангелом светлым и весьма блистающим, и как разумный — свободным». Вся сила этих слов сосредоточена для Гиппиус в одном: «свободный». Из него весь рассказ и вырастает.

Тема — умирающий от воспаления легких студент Федя, который в полубреду видит черта. Сначала он «очень обыкновенный», с рожками, с маленьким свинячьим рыльцем. Но он становится «матерым», на глазах у Феди начинает расти и делается «красивым, очень красивым». «Вместо грубого, матерого черта сидело перед ним сумрачное и прекрасное существо, одетое чуть-чуть театрально, в красном плаще»... И вот, превратившись еще на минуту «от добросовестности» в серого, паршивого, но сильного и вертлявого черта, с традиционным «хвостом датской собаки», черт принялся делаться человеком. Большим, стройным, довольно приятным, с белокурыми волосами, откинутыми назад. «В лице была уверенная сытость и уверенная властность». И Федя заметил, что человек — Крылатый.

Федя понимал, что этот уверенный и властный человек — или сверх-человек — может быть прельстительнее всякого демона, всякого бесенка с насморком; но сам Федя ему был чужд; не соблазнялся им и не боялся его, а потому и не ненавидел. Все это к тому же «чертовы штуки». Превращения, призраки. Он — всякий; значит ли — никакой?»

Но вдруг Федя с неизъяснимым томлением приподнялся на подушках. Человек по-прежнему сидел около него. Но уже никаких крыльев не было, а просто сидел пожилой господин в очках, в потертом сюртуке; и весь он был насквозь, такой слабый, такие слабые, длинные, обезьяньи висели руки, так гнулась от слабости спина, так на слабой шее висела голова, что, казалось, и минуты он весь не продержится на

стуле. И уж, конечно, пальцем не двинет и рта не раскроет. Однако, он раскрыл и промямлил:

«Это уж я для тебя. Твой. Только оставьте меня все в полном покое.»

Федя с ужасом глядел в лицо дьявола и узнавал в нем себя. «Сам Федя, только старый, страшный, бездонно-безвольный, с повисшей головой, сидел перед ним.

— Зачем ты меня мучаешь? За что? — простонал Федя. — Всю жизнь я о тебе думал, не знал, какой ты, и теперь не знаю, потому что ты мои же все мысли передо мной повторил, больше ничего. И сидишь сейчас слабой обезьяной, таким, каким я тебя всего больше ненавидел и боялся, и бороться хотел, да бороться сил не было...

— Не было? — вяло спросила обезьяна.

— Если сила ненависти силу борьбы рождает, так было! Было! — почти закричал Федя. — А потому — ты врешь сейчас, сидя около меня с моим. Ты лгун! Ты призрак, тень! О, всю жизнь думать и мучиться — и ничего не знать о тебе, только ненавидеть! Будь ты проклят!

Черт кивнул головой и произнес словно эхо:

— Тень... Тень... Всю жизнь... ничего не знать... Всю...

— Скажи, — взмолился вдруг Федя, — есть ты на самом деле или нет тебя? Если есть — какой же ты? Кто ты? Зачем ты? Зачем я тебя ненавижу? Ведь для чего-нибудь ты пришел ко мне?»

Федя неясно теперь видел дьявола. Уже не висели длинные руки и голова; светилось зыбкое пятно, светилось, не исчезало. Была и голова, и тело, но чем оно все делалось, Федя не мог различить. Голубые, странные глаза только видел, на него устремленные.

— Не спеши так, — сказал дьявол тихо.

Вдруг наклонился к столику (точно кудри какие-то упали вниз) — и взглянул на Федины часы.

— Что ты делаешь? — закричал Федя.

— Я пришел сказать тебе.

Туманный облик все светлел. Светлел медленно, но непре-

рывно. Тьма кусками сваливалась с него и пропадала внизу, обнажая светлое ядро.

— Тебя простят? Ты хочешь уверить, что тебя простят? — шептал Федя, взволнованно, садясь на постели.

— Нет. Меня не простят. Да если бы и был я прощен... вы, ты, — вы все, — разве могли бы простить?

— Нет.

— Видишь. А потому и не будет прощенья. И не надо прощенья.

— Кто ты? Отчего ты сейчас такой? Это ты?

— Да, это я. Слушай!

Федя смотрел, не отрываясь. И на него смотрели тихие голубые глаза.

— Ты слушаешь? Мы оба — тварь, и я, и ты. Но я был прежде тебя. Создавший создал любовь и свет. Сотворив людей, Он полюбил их. И сказал себе: «Хочу послать Мой высший дар — хочу дать им свободу. Хочу, чтобы каждый из них был воистину Моим образом и подобием, чтобы сам, вольно, шел ко благу и возрастал к свету, а не был как раб, покорно принимающий доброе, потому что заблагорассудилось это Господину». И позвал Он нас, светлых, к себе и сказал: «Кто из вас вольно ляжет тенью на Мою землю, вольно ради свободы людей и ради Моей любви? Кто хочет быть ненавидимым и гонимым на земле, неузнанным до конца, ради сияния света Моего? Ибо если не ляжет тень на землю, не будет у людей свободы выбирать между светом и тенью. И не будут они, как Мы.»

Так Он сказал. И отделился я и сказал Ему: «Я пойду».

Федя слушал и смотрел неотрывно в светящийся лик. Говоривший продолжал:

— Я пойду и лягу тенью на Твою землю, я до конца буду лежать как пес на дороге, ведущей к Тебе, и пусть каждый из них оттолкнет пса, чтобы войти к Тебе, свободный как Ты. Всю тяжесть проклятий их я беру на себя. Но, Всемогущий, что я знаю. Ты один знаешь силы человеческие! Если начну одолевать их?

— Я смел сказать Ему это. Но уже была во мне тень и страдание людей. И Он отпустил мне, твари, первое неверие за первое страдание и сказал: «Я Сам сойду помощником к людям, когда ослабеют силы их. Я Сам в Сыне Моем сойду к ним на землю, стану как один из них, в свободе и любви, и умру как они, и воскресну как первый из них. Ты узнаешь Меня и будешь тенью около Меня. Велико твое страдание, и только Мое и человеческое будет больше твоего. Посылаю тебя, вольно идущего на землю, в темной одежде. К Моему престолу восходи белым, как ты есть. Но для них — ты темен до дня оправдания, и о дне этом ты не знаешь. Иди.»

И я пал на землю как молния... Врезался в нее громовой стрелой. Я здесь. Ты меня видишь»...

Это, собственно, даже не догадка, а мечта. И мечта опасная. Но Гиппиус, по-видимому, не сознавала того, что делает, потому что ее белого дьявола **нельзя не любить.** И не только его любишь, но перестаешь думать, забываешь как о чем-то ненужном, о Боге. Вряд ли подозревала Гиппиус, что ее мечта может привести если не к откровенному дьяволопоклонству, то почти к неизбежному смешению Бога с дьяволом, к их медленному и неуследимому слиянию в одно двуликое существо.

О, конечно, человек нуждается в созданиях, которые недвусмысленно будили бы «чувства добрые», называя открыто зло злом. Согласен. Только, где их взять, эти создания, когда отсутствие критерия добра и зла — отличительная черта нашего времени, болезнь века? Я вполне отдаю себе отчет, что игра светотеней даже столь пленительная, как у Виньи и Лермонтова, стоили слишком дорого. Еще бы! Нам ли, «детям страшных лет России», этого не знать? Но как это ни странно и ни ужасно, та же «игра светотеней» — в Евангелии, где «загадочно-двусмысленно» почти все, что касается жертвы, свободы и спасения души. Вообще христианство не есть тихая пристань. Оно полно бесконечных противоречий и соблазнов, из которых величайший, может быть, сам Христос. Недаром Он сказал: «Блажен, кто не соблазнится о Мне».

В том же сборнике «Лунные муравьи» есть другой рассказ Гиппиус «Они похожи» о странном сходстве между Иудой и Христом.

«Весь он был черный и яркий, — замечает Гиппиус, описывая Иуду, — и одежда его была почти яркая — желтая. (Интересно, что Гиппиус применяет в этом рассказе ту же технику, что и Достоевский в «Великом инквизиторе»: у нее Христос тоже не произносит ни одного слова). Но что неожиданно в «Они — похожи» — это не сопоставление Бога с дьяволом, отнюдь не новое, а внутренняя между ними связь (в чем она — Гиппиус не говорит), обуславливающая их внешнее сходство, при сознательно подчеркнутой противоположности, «обратности» их физического облика. Но как ни пленителен образ Христа, Его неземная улыбка, сияющая такой «радостной радостью», невидимый черный свет затмевает своей яркостью тихое сияние этой улыбки. И так у Гиппиус почти всегда: чем решительнее она отмежевывается от соблазна, тем он ее упорнее осаждает.

В своих воспоминаниях «Живые лица» в главе о В. В. Розанове, авторе «Темного Лика», она рассказывает:

«У нас вечером, за столом, помню его торопливые слова:

— Ну, что там, ну, ведь не могу же я думать, нельзя же думать, что Христос был просто человек... А вот, что Он... Господи прости! — (робко перекрестился поспешным крестиком), что он, может быть, Денница... спавший с неба как молния...»

К счастью, подобные мысли ему являлись не так часто, иначе он, наверно, сошел бы с ума, ибо разум человеческий выдержать это долго не может.

Но в таком случае понятно, отчего тайна зла — твердыня для всех неприступная:

Оттого, что у нее на страже — безумие.»

Глава 4

ГИППИУС И ФИЛОСОФОВ

I

Весной 1892 г. у З. Н. Гиппиус очередной бронхит. Д. С. Мережковский, раздобыв у отца денег, увозит ее сначала на Ривьеру, в Ниццу, а потом, когда ей становится лучше, не надолго в Италию.

В Ницце, на даче профессора Максима Ковалевского — вилле «Эленрок» — она встречает молодого человека, студента Петербургского университета, Дмитрия Владимировича Философова. Он замечательно красив. Но она увлечена другим, каким-то доктором (повидимому, Чигаевым) и на Философова не смотрит. В Петербурге они не встречаются. И только через шесть лет, когда в 1898-99 гг. возникает «дягилевский кружок» и журнал «Мир искусства», начинается их сближение.

Однако, в Философове с самого начала чувствуется какая-то сдержанность и холодок. Гиппиус к нему неравнодушна — это ее тайна. Но он больше интересуется Мережковским и его идеями, а ее сторонится. Ему многое в ней не нравится. И она это чувствует. 19 декабря 1900 г. она записывает в своем дневнике: «... он (Философов) меня не любит и опасается. Именно опасение у него (а не страх), мелкое, примитивное, житейское. Я для него в сущности декадентская

дама, подозрительная интриганка, и опасается он меня не более, чем сороконожки».

У Мережковских была привычка «спасать» своих друзей (от гибели духовной, конечно). «Спасали» Мережковские даже в том случае, когда «погибающий» вовсе этого не желал, будучи убеждены, что делают доброе дело. К судьбе Философова, находившегося под влиянием Дягилева и его кружка, Мережковские не могли, конечно, отнестись равнодушно. Они считали, что на человека слабохарактерного, каким был Философов, атмосфера этого кружка должна действовать разлагающе. И вот Гиппиус начинает строить планы его «спасения», не без тайной надежды его приручить. На той же странице дневника, где она только что говорила о его к ней нелюбви, она пишет: «Жалею и Философова, который в такой узкой тьме. Там (у Дягилева) он пропадет, ну, конечно. Для меня все ясно. Надо сделать, что могу. У меня были такие мысли...» И вдруг спохватывается: «Да что я о Философове!» Но это игра. Философов ее интересует с каждым днем все больше, и в своем успехе она почти не сомневается.

Однако, первая попытка спасти Философова желанного результата не дает. Пока на его внутреннюю свободу не посягают, — он друг и помощник. Но когда выясняется истинное отношение Мережковских к «кружку Дягилева», в частности к «Миру Искусства», и Философов оказывается не то, что в «узкой тьме», а чуть ли не в помойной яме, откуда его вытаскивают силой — он от Мережковских отворачивается. К весне 1902 г. Философов стал, по словам Гиппиус, «каким-то странным образом» от них отдаляться. «Иногда неожиданно казался даже враждебным».

Он переезжает к Дягилеву (Дягилев его двоюродный брат). Мережковский, которого неудача огорчает, делает попытку с Философовым увидаться и переговорить. Но Дягилев — очень вежливо — его до Философова не допускает.

Это похоже на разрыв. Гиппиус злится и сочиняет две

эпиграммы. Одну на Философова, перефразируя ответ Татьяны Онегину:

Друзья и мать меня молили
Рыдая, но для бедной Лили
Все были жребии равны.
Я вышел замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить...

Другую — на Дягилева:

Курятнику петух единый дан.
Он властвует своих вассалок множа.
И в стаде есть Наполеон — баран,
И в «Мир Искусстве» есть — Сережа.

В марте 1903 г., за месяц до закрытия Победоносцевым Рел.-Философских Собраний, Философов уезжает с Дягилевым в Италию. Но что разрыв по ее и Дм. С-ча вине — эта простая мысль Зинаиде Николаевне в голову не приходит: «Он был, правда, все время болен», замечает она, не догадываясь о причине «измены» Философова, «но не так, чтобы болезнью можно было оправдать его отчуждение от нас и от наших дел».

Незадолго до отъезда, 19 февраля 1903 г., Философов, отвечая на письмо Мережковского, — оно, к сожалению, не сохранилось, — высказывает, со свойственной ему прямотой, свой взгляд на их отношения:

«Вы рассердились и дали исход своему злому чувству, — пишет он. — Затем, как христианин, спохватились, что злостью не возьмешь, и начали прикидываться добрым. Все это скучно, неубедительно. Если я погиб, то меня уже не спасешь, если я еще не погиб, то почему Вы думаете, что у Вас монополия спасения? Нет ли тут опять главного Вашего порока — гордыни?»

Но отталкивает Философова от Мережковских еще и другое: «Если я временами вас покидаю житейски, — продолжает он, — то из желания охранить свое чувство располо-

жения к вам. Я вас обоих люблю, и с вами тесно связаны значительные минуты моей внутренней жизни. И вот, когда начинается дипломатическая переписка по делам редакции, из которой так некрасиво проглядывает вся глубина Вашего мелкого писательского самолюбия, уязвляемого всякими несогласными с вами мнениями, или, когда вы со злобою в душе, начинаете говорить сладкие речи — я начинаю удаляться. Не хочу вас видеть в личине чуждых мне и противных людей».

Земная связь людей порою рвется,
Вот — кажется — и вовсе порвалась.

Эти, помеченные 1903 г. строки, написаны Гиппиус, судя по их уверенно-спокойному тону, должно быть уже после возвращения Философова в лоно Мережковских, то есть в самом конце 1903 г. А ее тогдашнее настроение более выражает посвященное Философову в 1902 году стихотворение «Алмаз», где она говорит: «Мы думали о том, что есть у нас брат — Иуда».

II

В октябре 1903 г. Гиппиус постигает большое горе. 10-го утром скоропостижно умирает ее мать, которую она очень любила. И неожиданно Философов возвращается: «... его помню вблизи все время», пишет она в книге о Мережковском. «Именно тогда почувствовалось, что он уже больше нас не покинет. Дм. С. очень этому радовался».

Но возвращение Философова не меняет, по существу, ничего. Его поединок с Гиппиус продолжается. Единственная перемена — это что отныне борьба ведется в открытую, по крайней мере, со стороны Философова. Что до Гиппиус, то она свои батареи обнажает не сразу. У нее — большая выдержка и на редкость упорная воля — как раз то, чего у Философова нет. Зато у него — прямота, простота и ду-

шевное целомудрие — то, что у Гиппиус отсутствует совершенно.

Проходит год с лишним. За это время Мережковскими сделана вторая попытка «спасти» Философова, столь же безрезультатная, как и первая. Философов отвечает контр-наступлением. Он спрашивает Гиппиус, почему она так уверена, что правда на ее стороне?

26-го ноября 1904 г. она ему отвечает. Вот ее ответ: «Искренность вашего письма поразила меня. Я не могла не остановиться перед тем, в чем, может быть, правда. И в эти дни я об этом тяжело и много думала. Столкновение не меня и вас — а двух устремлений. Вы отрицаете существом мою сущность. Как раз то, что я считаю святым — вы считаете дьявольским. Как раз мое созидание кажется вам разрушением. Мне не важно, **кто** из нас прав; мне важно, **где** правда. И вот, я допускаю, что правда у вас. Добросовестно и просто думаю, — возможно, что она у вас. Тогда все мое и я — делаюсь от дьявола, и только бы это решить, оставаться тогда в прежнем нельзя».

Что Гиппиус могла действительно искренно допустить, хотя бы на одну минуту, возможность своей неправоты, — этому Философов вряд ли поверил. Настолько он ее знал, чтобы понять, чего она этим путем хочет добиться: ей надо было, чтобы он добровольно и беспрекословно покорился ее правде, отказавшись от себя. Но поскольку эта правда — христианство, Гиппиус ломится в открытую дверь. Расхождений догматических между ними нет. Философов, с самого начала, принимает отношение Мережковских к христианству со всеми, из этого отношения вытекающими, следствиями. В своей книге о Мережковском Гиппиус это подтверждает: «Д. С-ча, как мыслителя, он (Философов) сразу понял, его идеи не могли его не пленять». Столкновение Гиппиус с Философовым — столкновение чисто личное, и в конце письма, сама себе противореча, Гиппиус это признает. «Вы понимаете, — пишет она, — я не о случайных отклонениях наших говорю, а о самом строе, — главном, — души. Когда обнажается этот

строй у меня и у вас — мы сталкиваемся». Но в дельнейшем оказывается, что положение вообще безвыходное: «Если я перейду в вашу "правду" — я зайду дальше вас, и вряд ли мы сможем общаться (намек на схиму, которую, как ни трудно этому поверить, Гиппиус грозится принять. В. З.) Если я останусь в своей прежней — мы тоже наверно не сможем общаться, — потому что вы никогда, при устремлении к безволию, не сможете сделать усилия воли и перейти в другое ради одной правды». И словно в неистовстве, она продолжает: «При общении (и при том, что я останусь в своем прежнем) — так будет **всегда**, и еще больше, ибо я буду усиливать то, что мне кажется **святым** и что вас «уничтожает, разлагает», что вам кажется «мертвенным ядом».

Уже по одному этому можно судить, насколько искренно она допускает возможность правды у Философова. Но какую бы форму их отношения ни принимали, с занятых позиций ни он, ни она не сойдут. Философов действительно отличался исключительным безволием, и то, что она говорит о его природе, по существу, верно. Но он вовсе не был против «низведения неба на землю». Он лишь указывал на опасность смешения двух порядков — человеческого и божеского, разделить которые до конца на практике не так то просто. А Гиппиус с этой опасностью играла все время.

Он на ее письмо не отвечает. Дальнейшие объяснения происходят, по-видимому, устно, при встречах, которые он часто откладывает, посылая коротенькие записки карандашом вроде: «Зина, милая, я не могу сегодня быть». На Гиппиус, когда она права, он не сердится. В своих недостатках, в частности, в своем безволии он вполне отдает себе отчет и не старается казаться лучше, чем он есть на самом деле, по крайней мере, перед Мережковскими. Но «святость» Гиппиус медленно его разлагает, и в конце концов, доводит до раздвоения личности, что парализует его волю почти совершенно. Вот характерное для него письмо — одно из многих — в котором он признается в своей, доводящей его до отчаяния, слабости.

«Дорогая Зина, — пишет он Гиппиус, — я не знаю, что со мной делается. Как только соберусь к вам — так начинаю выдумывать повод, чтобы не идти. Какой-то страх, глупый страх. В воскресенье пошел с сестрой на совещание родителей, а вчера был на редакционном собрании "Жупела". Какая-то реакция, которая сегодня, слава Богу, начала проходить, и я по крайней мере в силах написать это письмо. Думаю, все опять пройдет, но сколько чувства какого-то отчаяния за свою слабость. Впрочем, я чувствую себя плохо физически.

Постараюсь прийти сегодня. Говорю, постараюсь, потому что еще нет уверенности. Но, повторяю, слава Богу, лучше. Завтра надеюсь окончательно войти опять в колею и избавиться от какого-то острого нежелания вас видеть, то есть конечно, не вас, единственных близких, а вернее себя. Ваш Дима».

III

В конце апреля 1905 г. Мережковские с Философовым едут в Крым, где живут несколько недель вместе. Потом Философов возвращается в Петербург, а Мережковские, через Константинополь — в Одессу.

12 мая Гиппиус пишет Философову из Ялты длиннейшее, на 16-ти страницах, письмо. В нем ничего непосредственно касающегося их отношений нет, кроме нескольких замечаний, из которых видно, что она влюблена по-прежнему: «Дм. все говорит, — приписывает она на полях, — как много дало это наше путешествие. Я не говорю, но столько знаю!» И на другой странице: «Поехали на Ай Николу. Хоть и не было тебя (по предложению Философова, они все трое перешли на «ты». В. З.) — не могу сказать, чтобы я не наслаждалась глубоко». Но письмо это важно в другом отношении. Она в нем впервые говорит о своей еще не додуманной до конца идее «тройственного устройства мира», имевшей такое громадное влияние на творчество Мережковского и на

всю их последующую совместную работу. Философов, хотя и не сразу и не без оговорок тоже ее принял.

Эта весна в Крыму — затишье перед бурей. Уже на обратном пути, в Одессе, их ждала неожиданная встреча. Тут как раз пришел пароход с ранеными из Японии. В гостинице, где остановились Мережковские, поместили нескольких офицеров порт-артурских: «Чего мы в их комнатах не насмотрелись! пишет Гиппиус в книге о Мережковском. И такое осталось впечатление, что все эти «вернувшиеся» из огня войны — люди уже (или еще) ненормальные». Эта встреча послужила Гиппиус темой для рассказа «Нет возврата» (первоначально «Дыра в голове»), напечатанного в ее сборнике «Лунные муравьи».

Дача в имении «Малое Кобрино», на станции Суйда, по варшавской железной дороге — небольшой старый дом, — где Мережковские проводили это лето, была очень приятна. Они жили там втроем с Философовым. В середине июля он собирался недели на две в свое имение «Богдановское», Псковской губернии, к матери — у него было к ней дело — а затем назад в «Кобрино». Дело же было такое: Мережковские предложили ему поехать с ними заграницу, на год или даже на два-три, где они могли бы сжиться совместно и узнать новое, годное потом и для дела в России. В России все равно делать было нечего. «Мир Искусства» уже не выходил, кончался и журнал Мережковских «Новый Путь», религиозно-философские собрания были закрыты. Философов хотел посоветоваться насчет поездки с матерью и испросить у нее на это благословение.

Он, конечно, как всегда, колебался. Но пугала его не жизнь заграницей, а жизнь под одной крышей с Гиппиус. Уже в Ялте он начал понимать, какого рода чувства она к нему питает. А в «Кобрине» никаких сомнений на этот счет быть уже не могло.

В утро отъезда в «Богдановское», 15 июля на рассвете, когда в доме все еще спали, она вдруг явилась к нему в комнату. Он довольно грубо отправил ее назад. Накануне вече-

ром он ей написал письмо, которое, уезжая, подсунул под ее дверь. Вот, что в нем было:

«Зина, пойми, прав я или не прав, сознателен или несознателен, и т. д. и т. д., следующий **факт,** именно **факт** остается, с которым я не могу справиться: мне **физически** отвратительны воспоминания о наших сближениях.

И тут вовсе не аскетизм, или грех, или вечный позор пола. Тут вне всего этого, нечто абсолютно иррациональное, нечто **специфическое.**

В моих прежних половых сношениях был свой великий позор, но абсолютно иной, ничего общего с нынешним не имеющий. Была острая ненависть, злоба, ощущение позора, за привязанность к плоти, только к плоти.

Здесь же как раз обратное. При страшном устремлении к тебе всем духом, всем существом своим, у меня выросла какая-то ненависть к твоей плоти, коренящаяся в чем-то физиологическом. Это доходит до болезненности. Вот пример: ты сегодня курила из моего мундштука — и я уже больше не могу из него курить из чувства **специфической** брезгливости. Я бы ни минуты не задумался курить из мундштука Дмитрия. Да прежде, до нашего сближения, у меня этого абсолютно не было. И вот между мной и тобой вырос какой-то факт, который вселяет мне ощущение какой-то доведенной до пределов брезгливости, какой-то чисто физической тошноты.

Если рассуждать **грубо,** можно сказать, что такое чувство должен испытывать всякий человек, соединяющийся с другим без полового влечения.

Это **абсолютно** не то. У меня был такой случай. Но там чувство **жалости,** там нет бунта, просто бесконечное огорчение.

Здесь же все мое существо бунтует и у меня острая ненависть к твоей плоти.

Вот факт. Теперь что же мне делать?»

Она ему отвечает в тот же день, в «Богдановское», трактатом на 32-х страницах. Права она или нет, но она его

любит и потому перед собой права, как прав перед собой Философов, который ее не любит. Ее любовь ноуменальна и трансцендентна, его нелюбовь тоже ноуменальна и трансцендентна. Их поединок не может кончиться ничьей победой, а лишь двойным поражением. Но они этого не понимают и продолжают бороться.

«Выслушай меня, Дима, — пишет она. — Я омрачила тебя, себя омрачила, отраженно — Дмитрия, но не прошу у вас прощения, а только нужно, чтобы я же мрак сняла, если то мне позволят силы и правда. От тебя хочу просить только одного: не осуди мое усилие выразить эту общую правду, даже когда увидишь, что усилие было напрасно, что я ничего не сумела сделать».

Но это как раз то, чего Философов не хочет знать. Он боится соединения Бога с полом. Однако, не считаясь с его идиосинкразией, она пытается объяснить то, что все равно не поймет нелюбящий, защитить свою любовь — «жалкие искры, краткие мгновенья моего **святого** чувства к тебе... Оно было все в Боге, от и через Него... Мгновенья религиозного чувства (не к тебе только, но к Богу, к природе) касались и духа моего и души и **плоти.** По отношению к Богу и к природе ты не осудил (да и как бы?), по отношению к себе, ты — полусознательно или вполне сознательно, **заподозрел похоть.** Слишком это естественно... Во всякую чувственность всегда входила нить похоти, вот этой голой и холодной, всегда, с самого первого чувственного момента, плотского».

И, продолжая не считаться с тем, что внушает Философову ужас и отвращение, она ставит вопрос: «Но скажу и я тебе: а ты знаешь, ты наблюдал когда-нибудь чувственность — сознательной веры? Идущую от Высшего (не к Нему, как у св. Терезы) всю под Его взорами? Может ли в **такой** чувственности быть нить похоти? Хотя бы самая тонкая? Хотя бы не сознаваемая? Может ли вообще быть?... Я не смею ничего утверждать о себе, абсолютно. Я ничего не знаю. Но часто казалось мне, думалось, что по отношению тебя, с тобой, я могла бы сделать и почувствовать только то, что

могла бы сделать при Христе, под Его взором, и даже непременно при Нем. То есть так, чтобы Он не только мог быть, но непременно был бы... Знаю о себе, о кратких мгновениях моей предлюбви к тебе, что они были, при их плотскости, прозрачны, насквозь проницаемы для Божеского взора, все перед Ним, вместе с Ним».

IV

В Богдановском Философов ничего не делает. Валяется до завтрака, после завтрака опять идет к себе и даже чай пьет у себя в комнате.

Его поместили в квартире управляющего, далеко от большого дома.

С матерью он насчет Парижа еще не говорил. Все откладывает. Может быть, не поедет.

Письмо Гиппиус подействовало на него разлагающе. Чем он больше о нем думает, тем меньше знает, что на него ответить. Вообще он мыслей боится. Как с ними быть?

А письмо Гиппиус — грешно. Вот первое впечатление. Грешно, потому что абсолютный грех на тридцати двух страницах копаться в «собственных душевных кишках» — так, по крайней мере, ему кажется. А свои кошмары, вроде «ледяного озера», мы обязаны держать при себе. Распространяться на эту тему ни при каких обстоятельствах не следует.

Наконец, 22-го июля он отвечает:

«Прочел сегодня утром, при свете солнца, со свежей головой, твое письмо вновь — и ужаснулся! О, не содержанием, не фактами в нем изложенными, не теми внутренними и внешними событиями, по поводу или о которых написан сей трактат, а именно этим самым «О».

И сегодня, при свете солнца и со свежей головой (что, конечно, не отрицает возможности думать иначе при свете колдуньи-луны) я настойчиво утверждаю: Зина, берегись. Берегись прелести умствований! Особенно берегись, потому

что в конце концов где-то, в тайниках души эти тонкие умствования, эти отцеживания умственных комаров, доставляют тебе наслаждение. О, я не против игры в шахматы, а у тебя вся твоя игра обращается как бы в усовершенствованный бой быков. Без опасности и без ран для тебя игра не существует...

Ты все думаешь, что ты борешься с диаволом, увы, мне иногда кажется, что ты борешься с Богом, и не то, что борешься, а как-то ставишь себя с Ним на одну доску! И это ужасно страшно, и я начинаю тебя ненавидеть. Ты категорически утверждаешь, что **«знаешь»** о себе, знаешь, что твои переживания при всей их плотскости, были прозрачны, насквозь проницаемы для Божеского взора. Если у **тебя** такие знания, то ты или **святая** или **бесноватая,** во всяком случае, мне не товарищ. Да, я никогда не наблюдал «чувственность сознательной веры», но я поэтому и не утверждаю и не отрицаю, есть ли в ней «нить чувственности» или нет. Ты же наблюдала тоже, но с властью пророка утверждаешь. Говорю, не наблюдала, потому что для таких наблюдений необходима церковь, только имея ее за собой, во всей ее полноте, то есть имея такой пробный камень, который не **обманет,** можно пускаться на такие опыты. Теперь же, предаваясь своим одиноким колдовствам, ты не имеешь права говорить, что ты **знаешь,** ибо твои знания проверяли кто? Бог или диавол? **Не знаю.**

Зина, мое письмо жестокое, я знаю, и особенно жестокое потому что я его пишу «при свете солнца». Но что же мне делать, уж если пошло на борьбу, так не до сладости. А я борюсь, во-первых, за **себя,** за свою тайну, которую никогда не предам, и за свою простоту».

Философов, конечно, прав — с точки зрения церковной. И живи Гиппиус в средние века, ее несомненно сожгли бы. Но ведь и церковь может иногда ошибаться. Ошиблась же она, возведя на костер Жанну д'Арк. Это одно. А другое: в церкви не только Евангелие, Новый Завет, но и Ветхий — Библия. А в Библии — обрезание, смысл которого богосу-

пружество, кровно-плотский союз Бога с человеком. И как бы ни относиться, Библия без обрезания то же, что христианство без крещения.

Конечно, нет такой заповеди, которая обязывала бы Философова любить именно Зинаиду Гиппиус, а не кого-нибудь другого. И если он, прежде всего, борется за себя, — это его священное право. Единственно, что можно бы ему по этому поводу заметить, это что, с точки зрения человеческой, момент, выбранный для расправы с Гиппиус, не совсем удачен.

В деревне Философов ничего матери о Париже не сказал. Решил написать из Петербурга. Но решение — одно, а дело — другое... Когда, наконец, после многих усилий, письмо было написано, оно долго лежало, он каждый день не решался его послать. Возвращаться же в Кобрино, не имея ответа от матери, ему не хотелось. Получился тупик. Дело доходило до того, что, по собственному его признанию, он «напивался и хамски кутил до утра».

Наконец, 2-го августа, Гиппиус посылает ему телеграмму. Он тотчас отвечает: «Дорогой друг, ты меня знаешь, и знаешь, что все мои беды от недостатка воли. Если я застрял так долго здесь, то именно по болезни воли. Твоя телеграма заставила меня очнуться.

Вместе с сим отправляю маме письмо, копия с которого при сем. Буду у вас в четверг, в 1.5. Если не приеду, значит что-нибудь случилось. Тогда приезжайте за мной».

Но он приехал.

V

О поездке за границу Философов мечтал давно. Уже в июле 1904 г. он пишет Гиппиус из Петербурга в Аусзе (Австрия), где она с Мережковским проводит лето: «С Чулковым вчера мечтали. Мечтали об эмиграции и об издании журнала за границей. Он, конечно, с политической точки зрения, а я с религиозной. И мечтать было сладко, и эти мечты засели

во мне... Мы все волнуемся, как бы внешняя жизнь более совпала с внутренней... Думаю, что самое «практичное» это именно внешний отъезд одновременно с внутренним. Для меня такой отъезд очень труден. Подвиг. Но это был бы подвиг с результатом».

И будущее рисуется Философову в розовых тонах, что для такого осторожного скептика, как он, по меньшей мере, неожиданно. «И вдруг настанет день и час, мечтает он, когда мы себе скажем: Теперь мы окрепли. Поедем на родину. Скажем, что мы уезжаем для них же, чтобы вернуться к ним сильными, здоровыми, богатыми, что о них мы думали постоянно, потому что любви у нас много. Благослови, Господи!» А о себе он пишет: «Если это будет, то надо готовиться исподволь, жалея **меня,** не упрекая вечно за мои слабости (я их сам знаю), а жалея, не только любя».

В письме к матери, от 2-го августа 905 г., в котором он просит ее благословения на «новую жизнь», он о своей поездке говорит приблизительно то же: «Ты давно знаешь, пишет он, что я крайне неудовлетворен собой, что жизнь моя както так сложилась, что у меня слово не сходится с делом. И вот, наконец, я решил круто повернуть». Это значит — разрыв с Дягилевым. «Ты меня не раз упрекала, пишет он в том же письме, что я как-то разошелся с «Миром Искусства», что я перешел во враждебный лагерь, причем чувствовалось, что ты боишься, не сделал ли я это под вредным влиянием З. Н.

Мне трудно вводить тебя во все подробности, да это и не надо. Скажу только, что мои пути с Сережиными разошлись и что именно для того, чтобы, благодаря житейской близости, эта умственная противоположность не перешла во враждебность, мне нужно на некоторое время от него и от «Мира Искусства» удалиться».

«Вредное влияние» Гиппиус Философов не отрицает. Но он отрицает свой «роман» с ней. «Я знаю, моя милая, все то, что говорят кругом о моих отношениях к З. Н. Я знаю, что без особого исключительного доверия ко мне очень трудно отрешиться от мысли, что я влюблен, что «Зиночка меня

зацапала» и т.д. Вот тут-то и надеюсь только на твое материнское прозрение, на твою любовь ко мне и доверие.

Убедить тебя я никакими доказательствами не могу. Тут можно только поверить. Если тебе это трудно теперь, то, милая моя, на коленях прошу тебя, поверь хотя бы на время, пока. Скоро, скоро, даст Бог, ты убедишься в правоте моей и не раскаешься, что поверила мне».

Но «материнского прозрения» у Анны Павловны как раз не оказалось. Она не почувствовала, что ее «Дима» Зинаиду Николаевну не любит. В своем ответе из Богдановского, от 4-го августа она пишет: «Ты меня не переубедишь в том отношении, что Зиночка тебя «зацапала», но из этого ничего не следует заключать. Я совершенно откровенно и раз навсегда, и в **последний** раз выскажу тебе все, что у меня на душе относительно Зиночки — и баста. Не правда ли?

Ты бесхарактерный, и слава Богу, что тебя зацапала Зиночка, а не кокотка, или какая-нибудь Елиз. Никол. или Верочка Муравьева. Она умна и даст тебе **ум**, что же касается до ее телесных экстазов, о которых так цинично рассказывают ее **подлые** поклонники, которым она их расточала, то пойми, что до меня это вовсе не касается, какое мне до этого дело. Я лично ее не люблю, потому что она кривляка, но нам с ней не детей крестить, Бог с ней, пусть для нее я не существую и не ей быть разлучницей наших с тобой сердец».

Материнское благословение она дает тотчас же, в самом начале письма: «Мое благословение, ты знаешь, всегда и всюду с тобою и во веки (моего существования). Я очень сожалею, что ты раньше не возбудил со мной этого вопроса, который для меня не новость». Философов писал ей о своих заграничных планах еще прошлой осенью (когда мечтал с Чулковым). Анна Павловна ему об этом напоминает: «Спроси Зику *, как я сочувственно относилась к твоей

---

* Зинаида Владимировна Ратькова-Рожнова, сестра Философова.

поездке. Я говорила, что как мне это ни тяжело, но я обязана с этим мириться для пользы твоей и будущего... Я не верю, чтобы вы поведали миру более «Герценов» и пр. и таланта у вас меньше, но что бы вы ни поведали, и на том спасибо».

После такого письма Философов мог бы со спокойной совестью пуститься в путь, тем более, что Анна Павловна позаботилась и о материальной стороне поездки. Но он внезапно впадает в состояние, какое в 902 г. предшествовало его разрыву с Мережковскими. Положение осложняется еще тем, что падает духом и Гиппиус. И если бы она не взяла себя вовремя в руки, возможно, что в этот раз Философов порвал бы с Мережковскими окончательно.

VI

Через шест недель, после письма Анны Павловны, 13-го сентября, Гиппиус пишет Философову: «Дело в том, что я не верю в нас. Это ужасно страшно. Я почти не могу этого переживать одна, а между тем, приходится. Вы не помогаете мне, не поддерживаете — потому что не можете. Если б могли — так ведь я бы верила.

В корне не верю, что мы, нашим соединением, сделаем что-нибудь. У нас нет сил, ни у кого, на соединение. Всякое старо-человеческое ближе нашего, плотнее, **реальнее.** А мы не способны ни на старое, ни на новое.

Дмитрий таков есть, что он не видит чужой души, он ею **не интересуется...** Он и своей душой не **интересуется.** Он — **«один»** без страдания, естественно, природно один, он и не понимает, что тут мука может быть. Ты точно заколдован, в феноменальном параличе, ты — крик во сне, когда нет голоса, твоя импотентность в про-явлении исключительна, стены твоего дома — кругом брандмауеры. Ты, может быть, и страдаешь от этого... не знаю. Мне все равно, потому что, если и есть страдание, то так как и оно не проявляется, не

является, не касается мира — то его как бы и нет. Ни к тебе путей, ни от тебя.

Я хуже всех. И мне хуже всех. Я свои острые переживания (откуда взявшиеся?) принимала за факты. Устроила что-то, «пусть этот стул будет экипаж, а этот — лошадь» и поедем... И видела все так, и точно ехала.

Я — мелковатая, самолюбивая, похотливая и холодная душа! Даже и это все рисовка, насчет «жгущего холода», холодная **обыкновенно,** скорее сухая и лишь холодноватая бабья душа. С хитринкой перед собой, когда доходит дело до устроения себе приятностей.

Никогда я тебя не любила и влюблена не была, и все это один мой, перед собою, надрывный обман. Я, может быть, и Богу никогда не молилась, что все тоже обман **желаний,** а сухая душа не двинется.

Ведь не молюсь же я теперь. И не интересуюсь даже ничем религиозным. И ни на иоту не люблю тебя, и даже не представляю себе как это было, когда я это хотела и мне «казалось». Основательно дом выметен».

Гиппиус, конечно, права. Но это — лишь часть правды. Иначе им ничего не оставалось бы — всем троим — как разойтись в разные стороны. Философов это понимает, и переписка продолжается. Через три недели Гиппиус посылает ему новое письмо, написанное как бы другим человеком, где на 16-ти страницах развивает тему об опасности «двойной жизни». В этом письме характерны следующие строчки, прямого отношения к теме как будто не имеющие: «Тот, кого любят больше, чем он любит, — под властью, во власти этого любящего. Происходит фактически то, что не должно быть: человеческая власть одного человека над другим. Попрание свободы».

Гиппиус, по-видимому, уже тогда начала понимать, что единственная возможность сохранить отношения с Философовым — это не посягать на его свободу: живи как хочешь, выбирай что хочешь. И в ночь с 9-го на 10-ое октября (годовщина смерти ее матери) она ему пишет: «Несколько дней

тому назад (перед тем, как ты был у нас с Бердяевым) — мне вдруг с ясностью, с определенностью, и почти ни с того ни с сего, представилось, как ты приходишь к нам и говоришь с мукой, похожей на вражду, что не можешь ни быть с нами, ни ехать, что причины сложные и т.д. Я знала и что отвечу тебе: почти ничего. Гораздо меньше, чем в 902 году. Что делай, как можешь и хочешь сам, а что мы останемся и будем ждать тебя, и ты всегда, во всякую минуту, найдешь нас там и такими, какими и где оставляешь. Что мы верим, что ты вернешься. Вот и все, старое, давно тебе известное и незыблемое».

Это очень умно. Но тут ей следовало остановиться. Тогда Философов почти наверно не сделал бы того, что она ему как будто подсказывала. Но она не соблюла меру, и результат получился обратный.

«И это "мечтанье воображения", продолжает она, преследовало меня с поразительной конкретной ясностью... А после это "мечтанье", даже это, показалось мне несбыточным. Чтобы **так** прийти и сказать, самому и скоро, — тебя не хватит (или хватит?)... Ты все не решался бы, а потом, пожалуй, написал бы... Да и то не скоро... Во всяком случае, я **чувствую,** что тебе **не хочется** ехать, может быть **хочется** не ехать. Но мука в том, что ты, любя нас меньше, чем мы тебя, — **не смеешь** сказать нам это открыто и прямо в глаза (как нужно!) — и почти не смеешь взять мою помощь, которую мне **так** хочется тебе дать».

Относительно последнего позволительно усумниться. «Галлюцинации» Гиппиус, как она их сама называет, — не освобождают, а напротив, связывают, и, конечно, такое «попрание свободы» не могло Философова не возмущать. Он чувствовал себя все больше кроликом перед удавом. А Гиппиус, хотя и действовала без сознательного расчета, но ее действия автоматически вели к тому, чтобы кролика проглотить... И вдруг, о, неожиданность! Кролик оказал сопротивление.

VII

Не письмо, а «меморандум», без обращения, на пяти страницах большого формата — вот что получили Мережковские. Начинался он так: «Я не еду в Париж (вопрос, конечно, не в конкретной поездке, а в ее символичности), потому что чувствую какое-то нарушение равновесия нашей тройственности». Это нарушение в том, что Философову вдруг стало скучно. «Если бы я не говорил раньше, что «мне скучно», я бы мог ехать, потому что равновесие не было бы нарушено. Но почему я говорил «мне скучно»? Вы утверждаете, что по слабости внутренней. **Верю вам.** Именно **верю,** но сам с полной ясностью этого не вижу. Думаю, что тут было много внешнего. Но раз у вас есть сомнения, то и я сомневаюсь, а потому покоряюсь без всякого надрыва и без всякой пассивности, а просто и радостно».

Когда-то Философов упрекал Гиппиус в любви к «отцеживанию умственных комаров». Но сам он не лучше ее, как это видно хотя бы по его рассуждению о скуке. Гиппиус была права: ехать в Париж ему смертельно не хотелось, и он рад всякому предлогу, чтобы отделаться от поездки: «Но размышляя об этом, продолжает он, должен сказать вот что: тройственность нарушалась не только тем, что я слабел, но также тем, что в момент моей **силы** Зина слишком усиливала наши личные отношения... Несмотря на всю мою веру в нее, как часть целого, у меня есть ощущение, что она делает надо мной опыты, то есть бессознательно делает меня не целью, а средством, и делает опыты **опасные.** Ощущение того, что она **ворожит** надо мной, ощущение бесчисленных **личных** Зининых нитей паутины, связывающих меня, меня ни на минуту не покидает... Я требую от Зины полного прекращения тех отношений, которых она хочет. Может быть вре-

менно, теперь, пока не будет восстановлено равновесие, а может быть и навсегда. Но пока я чувствую, что тут путаница, смешение, пока я ощущаю здесь **ворожбу,** она не имеет права со мной не считаться, ибо это насилие».

Ультиматум кролика был принят. Жалоб на удава больше не поступало. Но через малое время кролик сам полез к нему в пасть.

Философов пригласил Гиппиус обедать к Донону. Там они неожиданно встретились с Дягилевым, который устроил Философову дикую сцену. Это было в конце декабря, накануне Рождества. «Инцидент с Сережей, пишет Философов Зинаиде Николаевне, имел самые серьезные последствия. Он написал маме моей письмо, в котором он просит ее простить его, что он не будет больше посещать наш дом, но что **по личным** причинам, а не **принципиально** не может поддерживать со мной отношений. Пока я все делал, чтобы разойтись принципиально — это до конца не удавалось. Но при первой житейской грязной истории, которая для меня **лично грязь,** — Сережа нашел возможным совершенно устраниться». Но есть в письме новость более важная: «Мама сегодня мельком сказала мне, что она хочет посоветоваться с Чигаевым, а после того, после отъезда Зики, посоветоваться со мной **серьезно** о наших делах. Не поехать ли ей в апреле заграницу к сестрам, ликвидировав квартиру. Она сама начала! Все будет!»

И вот, наконец, день отъезда назначен. Философов уезжает 10 февраля — первый. Он провожает мать в Швейцарию, к сестрам, а оттуда едет в Париж, где встретится с Мережковскими. Они выезжают через десять дней после него, с расчетом поспеть в Париж ко дню его приезда, в крайнем случае, на следующий день.

Накануне его отъезда Гиппиус посылает ему напутственное письмо: «Радость моя, деточка милая, уезжай с благословением Божиим. Я буду следовать за тобой любовью.

Христос утвердит ее, чудесную, укрепив и утвердив тебя. Он Сам с тобой. Он Сам сохранит тебя для Себя, для меня и для нас».

Трогательно. Жаль только, что сразу же после Бога, на втором месте — удав.

VIII

Философов уезжал с Варшавского вокзала в 12 ч. утра, а в 11 ч. на Николаевский приезжал из Москвы Дягилев. Узнав от встречавшего его Ратькова-Рожнова об отъезде Философова, он бросился на Варшавский вокзал.

В своем письме из Берлина Философов описывает эту встречу: «За пять минут до отхода поезда приехал Сережа. Мы с ним крепко поцеловались. Было страшно тяжело, очень тяжело. Жалость просто залила душу. И мне было страшно. Да и вообще очень жутко. Господи, как то все будет».

Гиппиус ему отвечает: «Вчера пришел Бердяев и стал рассказывать, как тебя провожал; и что у тебя лицо было печальное. И вдруг мне стало скучно, скучно, и так и до сих пор скучно, — а сначала, все два дня было очень светло, весело и спокойно. Хорошо.» На полях приписка: «А что С. (Сережа) тебя провожал, это как было, хорошо? Ему? И вообще?» Другая приписка: «Не знаю, чего желаю. Чтобы ты скорее в Париж, или не скорее в Париж. Знаешь, пожалуй, первое, из-за новых моих страхов».

В этом письме впервые появляется черт — одно их главных действующих лиц жизненной драмы Гиппиус, сыгравшей свою роль в ее отношениях с Философовым. Сначала он скромен и лишь путается, во время укладки, под ногами: «А кругом искушения, черт так и суется. Только что принялась бумаги разбирать — как тут же сожгла важный документ, присланный на день Сераф. Павловной (Ремизовой)... У Дмитрия неслыханные искушения из Москвы... Хотела бы выехать не позже 19-20. Везде черт препоны, я уже всего боюсь».

В следующем письме, которое она посылает «наугад», не зная точно, где Философов — во Франкфурте или в Женеве, она пишет. «Дима, родной мой, очень мне холодно, холодно. То что ты **есть,** как следует, такой как следует, одно и поддерживает. Твое письмо меня так обрадовало. А все-таки холодно, холодно». Этот холод тоже от черта, от «ледяного озера». Получив от Философова телеграмму о его выезде в Париж, она его предупреждает: **«Очень, очень** прошу тебя, ничего **не начинай** в Париже без нас, никаких людских связей, даже самых внешних, это очень важно, этим ты мне поможешь внутренно».

В Париже они останавливаются в Hôtel Iéna, Place Iéna. Но там не задерживаются. Быстро находят пустую квартиру в новом доме, в Auteuil, на 15 bis, Av. Théophile Gautier, перевозят туда вещи и едут на Ривьеру, сначала в С.—Рафаэль, потом в Канны, где поселяются в Hôtel de l'Esterel на Route de Fréjus, по дороге в La Bocca.

Философов занимает комнату № 17. 11-го апреля Гиппиус передает ему, через портье, письмо, из которого видно, что она ворожила недаром. «Знай, верь, или если **уже** знаешь, — помни: все что было — было **абсолютно необходимо** для обоих нас...» Но ее победа призрачна, и она это чувствует: «Никогда так близко не было темное, как **может** быть теперь, замечает она. Темное уныние, темное одиночество, темная злоба... Дима! Тут, в них, не будет правды». И она просит: «Не греши, ни унынием, ни ненавистью, ни покаянием. Мне светло».

В конце апреля Философов возвращается в Париж, на несколько дней раньше Мережковских, чтобы приготовить к их приезду квартиру. 29-го апреля, накануне своего отъезда, Гиппиус посылает ему в Отель дю Лувр, где он остановился, «трактат» на 18-ти страницах, почти сплошь посвященный разговору с чертом: «Бездонность слабости нашей, пишет она, все яснее для нас, нам открывает ее бездонность нашего страха. Воистину — страх начало мудрости. Потому что знать, как слаб, нужно же. Я тебе скажу о себе (и говорила,

но нельзя не повторять) — что мучения страха во мне до такой степени, иногда, застилали все, что я только его и видела, и не хотела и не могла с него внутреннего взора спустить, как с врага, который тотчас заест, отвернись только от него. А ты думаешь, я не вижу около, близко, гримасничающее лицо Дьявола. Долго, долго, пока не устал, он повторял мне: «Ты не любишь, ты не любишь, не будь комичной, обманывая себя. Где же твоя твердость сознания? Имей смелость и честность хоть себе и мне признаться, что не любишь и даже не влюблена. Воображение, головное упрямство, натаскивание. Право, и не влюблена. Немножко похоти-страсти, и то так себе — вспомни, ведь ее бывало больше. Заметь, даже похоть и та сильнее в отсутствии, то есть в воображении. Реальное влюбление, реальная страсть — не таковы. Ты раздражена противодействием, это упрямство, властность и воображение. Ты не любишь и не влюблена. Не обманывай себя и меня». — Вот он что твердил мне, пока не устал. Но устал. **Я сама**, я одна, своими силами, не могла бы устоять. Ведь он не глупее меня, в сознании равен мне. Но я оборачивалась в другую сторону и там находила силу встать куда-то поверх сознания (**только** его), в область какой-то бестенной правды, и оттуда отвечала ему: «Нет. Я люблю. Я так хочу. И в этом не моя, как не твоя воля. Я и Он, а не я и ты». И он, дьявол, изменил гримасу. Он стал говорить мне: «Ну, что ж? А теперь видишь? Что же, много отрады в «достижении»? Много у тебя оказалось страсти? Сны, то есть воображение, не блаженнее ли были реальности? Горячая головка, но... средний темперамент! Тебе хотелось опыта — вот тебе и опыт. Опрометчиво, очень опрометчиво! Разве, если уж с твоей, романтической, точки зрения говорить, разве не веселее, загадочнее, упоительнее, подъемнее, огненнее раньше было, до этих трех, двух ночей? Трепет неизвестности, блаженный трепет вольного **не** до... Недохождение до того, что возможно — ведь это свобода предполагать, что и в возможном, в бывшем и бывающем — полное счастье. От тебя зависит, от тебя — человека: протяни руку сам — и возьмешь. Всегда

можешь думать, что если не берешь — то потому, что **сам** не хочешь. Это тоже хорошее счастье. Ну, а теперь? Не ясно ли, что ты сама ничего не можешь? Только лишилась и этого упоения человеческой возможностью. Опрометчиво и с другой стороны. Ты не «любишь», но допускаю, что этот человек тебе, для тебя, как-то нужен, телесно даже, чем-то необходим. Зачем же ты так безрассудно не постаралась привязать его к себе чисто полом, прямою страстью? Что он-то не любит — об этом ведь и спорить не приходится. Но если бы ты, даже сама бессильная к страсти в себе, владела собою и и своим сознанием, — ты смогла бы завязать ту ниточку, схватить кончик той цепи, который у него теперь свободен. О чем же ты мечтала? Как это неумно! Столько учить тебя столь многому, чтобы ты в нужную для тебя минуту потеряла все, парализованная утопическим «уважением к личности», воображением «любви» и — нелепым страхом, идущим неизвестно откуда, только не от меня и не от человеческого. Подумай, — чего бы ты могла достигнуть, если бы была умнее, только умнее, и сравни с тем, что имеешь теперь».

Вот что говорил мне черт. Но я знаю, что это он. А ты должен чувствовать, Дима, что это он. Я нарочно пишу тебе все, я не хочу бояться и хочу быть с тобою рядом, — борясь с ним. Слишком долго борюсь я в одиночестве (тут). А ты до сих пор один со своим. Но я верю, я вижу, как побеждаешь ты своего (и я своего) — и верю, что не устрашит тебя и мой. Может быть они, твой и мой, окажутся одним. Тогда мы двое будем против одного. Победа не вернее, но легче борьба.»

IX

Ответить на это письмо Философов не успевает: через два дня, 1-го мая, Мережковские в Париже, у себя на квартире, которую он приготовил к их приезду.

Да и что мог бы он ответить? Что ворожба продолжает-

ся, что над ним совершают величайшее насилие, что он ни сказать, ни даже подумать не смеет, что не любит, т.е. не так любит, как это угодно Гиппиус, ибо это от дьявола, что Богом и дьяволом она распоряжается по своему усмотрению, выдавая божье за дьявольское и дьявольское за божье. Что у него бывают минуты, когда ему хочется бросить все, сесть в поезд и вернуться даже не в Петербург, а в Богдановское, и что если бы не стыд, он, пожалуй, не устоял бы. Каждый раз, когда ему удается вырваться куда-нибудь одному, хотя бы на день, — это отдых. Отдых даже прогулка в одиночестве по Парижу.

В конце лета Мережковские едут в Pierrefonds. Философов с ними. Там он до 8-го октября, а затем отправляется в Амьен, на конгресс синдикалистов, где пробудет несколько дней. Он посылает Гиппиус три открытки. Она ему отвечает коротким письмом, в котором выражает свое сожаление по поводу его отсутствия: «Неловко как-то, что тебя нет. Ты мне нужен каждую минуту жизни, во всех видах и состояниях, иногда в отдалении, но решительно в небольшом и не дольше, максимум, 6-8 часов.

Не забывай, что ты обещал мне все решительно рассказать, что было на конгрессе и смысл его и вне его и ты и все.»

О конгрессе Философов пишет кратко, между прочим, что там «доминируют два чувства: зависть (реформисты, пекущиеся о благополучии, как у буржуа) и ненависть (анархисты)». Он просит послать ему, в заказном письме, 50 фр., на всякий случай, так как боится, что у него не хватит денег.

Гиппиус спрашивает его не без ехидства: «Признайся, весело чувствуешь себя на свободе? Ничего, ничего. Это иллюзия. Ты не «на свободе», потому что я все же тебя люблю». Это тем более неожиданно, что двумя днями раньше, она его поощряла: «Веселись, сколько влезет, дорожи часом, в Париже не запрыгаешь».

Философов собирается назад и извещает Мережковских

о своем приезде. Но конгресс затягивается, и он решает остаться еще на один день. В ответ на это Гиппиус, вернувшаяся тем временем с Мережковским в Париж из Pierrefonds, делает ему строжайший выговор. На открытке мелким почерком она пишет: «Ни то, что м.-б. Нув. * прав и ты со старой психологией увлекаешься общественностью, ни то, что еще какой-нибудь старой психологией увлекаешься; но старая психология **не отвечать** за себя и не делать, все равно почему, того, что сам свободно говоришь, — мне кажется самой опасной, и на наш взгляд она у тебя должна бы уже измениться. Этот мелкий факт меня **за тебя** глубоко оскорбил. **А** я именно предполагаю, **не ответ за себя,** потому что не могу же я думать, что ты уже думал остаться, когда просил прислать 50 фр. Лишь на случай, чтобы не бояться. Извини, если тебе тоже не понравится эта карточка. Но надо же быть искренной. И **эта** психология старая одинаково недопустима в мелочах и в крупном. Должна признаться, что это нам **обоим** чрезвычайно не понравилось.»

«Уж если у кого старая психология, отвечает ей Философов, так это у тебя, и я **категорически** протестую против нее. Я уже уложил вещи, чтобы вернуться сегодня к обеду. Но, видя в твоем грубом письме самое для меня нестерпимое насилие, я из принципа остаюсь до **конца** конгресса и вернусь только завтра. Ты даже не постыдилась сказать **такую** мерзость, что когда я выписывал 50 фр., я врал. Ну, как тебе не стыдно.»

Ей может быть и стыдно, но когда ею владеет ревность, она теряет голову. Не успокоил ее и Нувель, которого она пригласила обедать и от которого узнала, что Дягилев в Париже со своей выставкой художников «Мира Искусства». Она боялась, что Философов его встретит, боялась «старой психологии». Философов, тоже боявшийся встречи с Дяги-

---

* Валентин Федорович Нувель, товарищ Философова по гимназии, друг и помощник Дягилева, находившийся в то время в Париже.

левым, пишет ей из Амьена: «Ведь топография его (Дягилева) очень узкая (он жил в Hôtel Scribe, около больших бульваров). И мы с тобой отлично будем ходить на левый берег... Пока у меня столько дела и такое настроение, не ходить на бульвары для меня не лишение». Но, кроме Дягилева, встречи с которым удалось избежать, Философова подстерегали другие искушения, как это видно из письма Гиппиус от октября 907 г. Однако, какие — неизвестно, и справился ли он с ними — неизвестно тоже. Но, когда в следующем году Дягилев приехал в Париж с русскими концертами, Философов «пал» — бывал на концертах и у Дягилева в Hôtel Hollande. Гиппиус пишет Философову: «Чувствую себя в нелепом, тупом хаосе жизни, дней, проходящих под улыбкой мелкого дьявола. Мне ночью мучительно твердилось, точно в уши кто шептал, что тебя черт искушает, даже не трудясь новенького выдумывать, даже не революцией, а старым фраком, и даже не на «грех» искушает, а просто на отвлечение от дела жизни нашей, на «настроения» и безмужественную косность, тягучую колею... И страшно, что год тому назад он тебя и то поострее и похитрее опутывал. А теперь фрак и музыка хорошая, и Нувель рядом вместо меня, и настроение, и все так просто и естественно, и мило и хорошо, и ни под что не подоткнешься».

Удивительно, как такая несомненно умная женщина как Гиппиус не умела обращаться с людьми и Философова довела до того, что он без раздражения не мог выслушивать ее замечания: «Твое присутствие теперь парализует меня, пишет она ему в конце 907 г. Я не могу говорить, когда **знаю,** что нужно. В этом, конечно, не я виновата, но чья вина — безразлично. Слова написанные тебе приемлемее, и я иду на эту слабость — сегодня». И она подводит итог их совместной жизни за год: «Нет, что там себя обманывать. Слишком глубоко мы **знаем,** что ни со старой психологией, ни со старой физиологией, как со старой жизнью, не войдешь в новое. Мы, **естественно,** когда влечемся к новому, ломаем и жизнь, и психологию, и это, ведь, путь не по розам; не по розам

и ломанье физиологии, такое же неизбежное... У тебя такой тон, точно ты можешь устроиться, только вот обстоятельства... Не идеально, но не дурно. Сам знаешь, что это вздор».

И она делает признание, от которого впоследствии откажется: «Мы не хотим страдать. Но хотим того, чего без величайшего страдания не достигнешь. Шагу не сделаешь».

Будем справедливы: немногие в жизни страдали от любви так, как страдала она. Почему же она не только ничего не приобрела, но все потеряла?

X

Удивительно устроен человек: дайте ему в любви свободу выбора, и он из тысячи выберет, за редким исключением, того, кто причинит ему наибольшее страдание.

Такой человек для Гиппиус был Философов.

Разрыв между ними произошел в конце 19-го года, в эмиграции, когда Мережковские, в день открытия рижской конференции, уехали из Варшавы в Париж, а Философов с Савинковым остались в Польше продолжать борьбу с большевиками. Но внутреннее несогласие существовало давно. Трещина образовалась еще до войны 14 года, а полной гармонии может быть вообще не было никогда.

Но переписываться и встречаться они продолжали и после разрыва. Когда Философов бывал по делам в Париже, он к Мережковским заходил, хотя пользы и радости от этих встреч ни ему, ни им не было.

В конце января 1913 г. Гиппиус из Ментоны пишет в Петербург Философову: «Дима, дорогой, любимый, радость моя милая, приезжай! Так прошу тебя, всей моей душой тебя прошу, никогда еще так не просила. Мое сердце сейчас к тебе точно на острие. Сюда приезжай, — если не можешь для чего-нибудь, хоть только для меня одной приезжай, я знаю, увидишь, как это важно и хорошо для нашего всего **будущего.** Родной мой, если ты захочешь, когда-нибудь я

к тебе приеду, я сейчас бы к тебе приехала в СПБ, но ты понял бы это не так (что «за тобой»); а позови — и я приеду. Не в том дело, пойми же меня хоть чудом, пойми, как важно, ради Христа. Просто смертельно болит у меня душа. Помоги, вся моя любовь к тебе, не раздумывай, не суди меня, я не обманываю, я не преувеличиваю, да и не говорю ничего, я просто молю тебя, зову тебя, кричу тебе.

Бог нам поможет, ты меня услышишь. **Теперь** приезжай, а потом уедешь, когда захочешь; остановишься на сколько захочешь, с кем захочешь, я буду считать дни, пришли телеграмму, когда это получишь. (А если все-таки не сможешь **сюда скоро** — то совсем ничего не отвечай). Но я верю, что ты поймешь. Как не поймешь? Я люблю тебя сильно, и так прошу, так прошу, неотступно, знаю, что это для меня сейчас и что для меня значит, и для всех.

Радость моя, жду тебя, не забуду никогда тебе этого. И ты вспомнишь».

На следующий день она ему посылает вдогонку второе письмо: «Дима дорогой, я послала тебе письмо, и ни от одного слова я не отказываюсь и не отрекаюсь. Но мне больно стало за тебя: такая просьба может показаться насилием. Нет, я хочу твоей свободы. Только полной открытости. Ты знаешь меня, знаешь, как мне трудна открытость и просьба, но так мне лучше, и не бойся оскорбить меня, не бойся **отказать,** не мучайся ничем; поймешь — ты все равно поймешь, а если все таки не сделаешь, значит считаешь, что так лучше для тебя. Еще я скажу открыто: в желании твоего приезда у меня опять переплетены две нити, личного и общего. Знай это. От этого глубже и острее мое желание, но может быть, для тебя оно менее уважительно. Знай все и поступай свободно. Опять говорю: за каждое слово несу ответственность в полноте и каждое останется, как бы ты на мою просьбу ни ответил, что бы свободно ни решил.

Я писала тебе попросту вчера, забыв многое, забыв сложность, затуманившую всех нас; я думала, кажется, о Зине (Зинаиде Владимировне Ратьковой-Рожновой — сестре Фи-

лософова), звавшей тебя из Канн в Петербург, да как-то вроде этого думала. О твоей помощи, главным образом. Все осталось, только хочу дать тебе еще полную легкость, полную свободу, и не из гордости, а **только из любви.**

Больше я уж никак не могу сказать тебе ничего, и Бог мне свидетель, что я говорю полную правду. Если ты не приедешь, значит для тебя это было так же важно и нужно **не приехать,** как мне важен и нужен твой приезд».

Философов ответил не сразу. Гиппиус, думая, что он не приедет, пишет через несколько дней в Петербург своей сестре Татьяне: «Дима не поехал **не** для сборника, что будет нужен здесь — **знал.** Таковы факты... Но у него физическая нужда жить без **нас,** личная и непобедимая ничем, даже общим делом. У него две наприязни, одна ко мне, другая к Дм., разные — но одинаковой силы. Я не только не виню его, но даже не отрицаю, что при этом он нас "по какому-то" любит; медленно и ровно увеличивается ненависть и соответственно уменьшается любовь. Ненависть или, вернее, непереносимость, зови как хочешь. Повторяю, что я его ни капли не виню, он же сам не рад; но мне надо было ясно и бесспорно увидеть черту, до какой поднялась вражда, ясно понять, что за этой чертой уже нельзя длить отношений "как бы". Для этого я выявила все **предлоги.** Кроме того, я без политики, без полемики, а со всей только любовью открыла ему решительно все пути возвращения, просила его приехать, когда он хочет, как хочет, для чего хочет. Дала ему все, что имела, сразу, и веру, и любовь, и свободу. Это был необходимый "знак", и то, что последовало — я приняла спокойно, не жалея, что отдала, и только уже бесповоротно видя, что больше не могу дать ничего и в самом деле **ему** больше не нужна. Все изменилось между нами, но я теперь перед собой, перед Богом могу сказать, что если изменение — не правда, то моей руки тут не было».

Однако, Философов приехал. Приехал, и... ничего не изменилось. Его недоброе чувство к Мережковским продолжало крепнуть. Гиппиус объясняет это его болезнью: «Весной

после нашей деятельной и рабочей зимы мы уехали в Париж и оттуда в Ментону, — пишет она в своих воспоминаниях. Уехали вдвоем с Д. С., так как Д. Ф-ву надо было кончить какие-то семейные дела, а кроме того — он был в очень мрачном настроении. Это скоро объяснилось ухудшением его здоровья: — мучительные припадки печени. Узнав об этом в Ментоне, мы с Д. С. решили вызвать его скорее к нам, и он приехал. Первое время припадки продолжались, но затем он стал поправляться, а с поправлением улучшилось и его душевное состояние».

Но передышка была краткой.

XI

Что он Мережковских «ненавидел» — случалось и раньше. Но целиком его душой ненависть не владела никогда. Вспыхнет и погаснет. И только после смерти его матери, весной 12 г., Мережковские стали для него «непереносимы». В том же письме из Ментоны к сестре Гиппиус пишет: «Только со смертью в душе можно ненавидеть живых так, как, приникая к могиле, отталкивается от нас Дима».

Положение осложнялось еще тем, что после их возвращения из Франции в Россию, в мае 1908 г., Философов переехал к Мережковским и жил с ними в одной квартире, сначала в знаменитом доме Мурузи на Литейном, потом против Таврического сада, на Сергиевской 83. Конечно, он их «по-своему» любил, как пишет Гиппиус, иначе совместная жизнь была бы немыслима. Но у него были свои дела, свои интересы, и споров он старался избегать, считая их бесполезными. Но случалось, и довольно часто, что в Мережковских его раздражало буквально все, и тогда спор принимал безобразную форму и сводился к личным нападкам. В своих воспоминаниях, написанных вскоре после его смерти и незадолго до своей, Гиппиус дает его характеристику, стараясь быть, по возможности объективной: «Очень высокий, стройный,

замечательно красивый — он, казалось, весь, до кончиков своих изящных пальцев, и рожден, чтобы быть и пребыть "эстетом". Его барские манеры не совсем походили на дягилевские: даже в них чувствовался его капризный, упрямый, малоактивный характер, а подчас какая-то презрительность. Но он был очень глубок, к несчастью, вечно в себе неуверенный и склонный приуменьшать свои силы в любой области. Очень культурный, широко образованный, он и на писание свое смотрел, не доверяя себе, хотя умел писать свои статьи смело и резко... Он был не **наносно,** а природно религиозен, хотя очень целомудренен в этом отношении... Но самый фон души у Дм. В-ча Ф. был мрачный, пессимистический (в общем) и в конце жизни в нем появилось даже какое-то ожесточение.

Он подошел к Д. С. ближе, чем ко мне, и любил его, конечно, более нежели меня. Ко мне он относился всегда с недоверием — к моим "выдумкам", которые, однако, нередко и Д. С. принимал как свое.

Впрочем, я не сомневаюсь и теперь, заключает она, что Д. С-ча любил он искренно, и даже нас обоих. Как и мы его. За пятнадцать лет совместной жизни можно было в этом убедиться».

Это — «официальная» версия. Мы знаем, как оно было на самом деле. Ближе к истине стихи. Первое, посвященное Философову стихотворение озаглавлено «Предел» и помечено 901 г., то есть относится к периоду «предлюбви», как говорила Гиппиус, когда она еще надеялась на счастье.

Сердце исполнено счастьем желанья,
Счастьем возможности и ожиданья, —
Но и трепещет оно и боится,
Что ожидание может свершиться...
Полностью жизни принять мы не смеем,
Тяжести счастья поднять не умеем,
Звуков хотим, но созвучий боимся,
Праздным желаньем пределов томимся,
    Вечно их любим, вечно страдая, —
    И умираем, не достигая...

Через год Гиппиус посвящает ему стихотворение «Алмаз», с уже приведенной в начале этой главы строчкой о брате Иуде: «Мы думали о том, что есть у нас брат Иуда». Оно написано после того, как Философов, порвав с Мережковскими, уехал с Дягилевым в Италию.

Следующее помечено 905 г. и озаглавлено «Между». В конце 905 года как раз решался вопрос о поездке заграницу, и Философов никак не мог принять решение.

На лунном небе чернеют ветки...
Внизу чуть слышно шуршит поток.
А я качаюсь в воздушной сетке,
Земле и небу равно далек.

Внизу — страданье, вверху — забавы.
И боль и радость мне тяжелы.
Как дети, тучки тонки, кудрявы...
Как звери, люди жалки и злы.

Людей мне жалко, детей мне стыдно,
Здесь — не поверят, там — не поймут.
Внизу мне горько, вверху обидно...
И вот я в сетке — ни там, ни тут.

Из посвященных Философову стихов — это все. Но о нем и о своем чувстве к нему Гиппиус писать продолжает, и узнать эти ее стихи не трудно. Вот, например, одно, как бы «прощальное», от сентября 18 года.

Твоя печальная звезда
Недолго радостью была мне:
Чуть просверкнула, — и туда,
На землю, — пала темным камнем.

Твоя печальная душа
Любить улыбку не посмела,
И от меня уйти спеша,
Покровы черные надела.

Но я навек с твоей судьбой
Связал мою — в одной надежде,
Где б ни была ты — я с тобой,
И я люблю тебя как прежде.

Она осталась ему верна. Верность была основным свойством ее природы.

В одном из своих последних стихотворений, она, обращаясь к охраняющему вход в рай привратнику, говорит:

Измена... нет, старик, в измене
Я был невинен на земле.
Пусть это мне и не в заслугу,
Но я любви не предавал
Ни ей, ни женщине, ни другу
Я никогда не изменял.
К суду готовлюсь за другое,
И будь, что будет впереди...

Но привратник, отворив дрожащей рукою перед нею дверь, отвечает:

Суда не будет. Проходи!

XII

Война 14-го года их разделила. Не знаю, был ли Философов членом партии к-д, или только ей сочувствовал, но свои статьи он печатал в милюковской газете «Речь», органе этой партии. Мережковские ни к какой партии не принадлежали и к войне относились как к неизбежному злу, (вообще они войну — всякую — отрицали в принципе). О каком-либо ее оправдании, особенно религиозном, не могло быть и речи. В 16-ом году Гиппиус писала:

Нет, никогда не примирюсь.
Верны мои проклятья.
Я не прощу, я не сорвусь
В железные объятья.

Как все, живя, умру, убью,
    Как все — себя разрушу.
Но оправданием — свою
    Не запятнаю душу.
В последний час, во тьме, в огне,
    Пусть сердце не забудет:
Нет оправдания войне,
    И никогда не будет.
И если это Божья длань —
    Кровавая дорога —
Мой дух пойдет и с Ним на брань,
    Восстанет и на Бога.

Это стихотворение, конечно, напечатано не было, никакая редакция его не приняла бы. Впервые оно появилось в берлинском сборнике стихов Гиппиус «Дневник», вышедшем в 1922 г., в издательстве «Слово».

Философов смотрел на войну иначе — не то, чтобы он ее считал «святым делом», но дух патриотический поддерживал. Все для войны. На этой почве у него с Мережковскими происходили постоянные столкновения. Они видели дальше. Для них война была началом мировой катастрофы, чем-то вроде «Атлантиды». Особенно это чувствовала Гиппиус. В канун рокового 14-го года она пишет стихотворение, которое я уже приводил не раз и которое лучше чем что-либо выражает ее тогдашнее душевное состояние:

На сердце непонятная тревога,
Предчувствий непонятный бред.
Гляжу вперед — и так темна дорога,
Что, может быть, совсем дороги нет.

Но словом прикоснуться не умею
К живущему во мне — и в тишине.
Я даже чувствовать его не смею:
Оно как сон. Оно как сон во сне.

О, непонятная моя тревога!
Она томительней день ото дня.
И знаю: скорбь, что ныне у порога,
Вся эта скорбь не только для меня.

Когда катастрофа наступила (кстати, победу большевиков Гиппиус предсказала еще в 1905 г. См. ее письмо Философову «За час до манифеста» от 17 окт. 1905 г. напечатанное в 64-ой тетради «Возрождения»), когда наступила катастрофа, отношения между Мережковскими и Философовым обострились настолько, что они предпочитали друг с другом не разговаривать, ибо всякий разговор переходил в спор и в ссору. Философов вел себя так, как будто причина всех бед, в том числе и победы большевиков — Мережковские. Он почти не выходил из своей комнаты, целыми днями лежал на кровати, как труп, оброс бородой и ни с кем не разговаривал. Вид у него был страшный. Все вокруг него словно окаменело. Окаменел, казалось, даже воздух. И если бы не Мережковский, проявивший необыкновенную энергию и один подготовивший бегство, он у большевиков так и погиб бы.

Разрыв с Философовым произошел в Польше, когда Мережковские уехали в Париж, а он вместе с Савинковым остался в Варшаве для подпольной борьбы с большевиками. Гиппиус переживала разрыв болезненно, чувствуя и сознавая, что Философов, что бы с ним и с Польшей ни случилось, не вернется никогда, что это — разрыв окончательный. В своих воспоминаниях она лукавит, говоря, что отчасти косвенно содействовала разрыву и она.

Савинкова, под власть которого подпал теперь Философов, она возненавидела, поняв, наконец, что он человек, прежде всего, не умный. От ее «февральского» увлечения им, когда ей казалось, что только он, вместе с Корниловым, могли бы спасти Россию от гибели, — не осталось ничего. И то, что Философов во власти Савинкова, было невыносимо.

После ее смерти найдена в ее бумагах небольшая тетрадка, в коричневой обложке, на которой, посредине, карандашом написано: «Отдать Д. В. после», т. е. Дмитрию Владимировичу Философову после ее смерти. Внизу, в левом углу

год: 1920. Под надписью карандашом приписка чернилами: «Некому отдавать, он умер. И он. 1944.»

Философов умер 4 августа 40 г., в польском курорте Отводске. Мережковские об этом узнали в Биаррице в августе 40 г., но не от Тэффи первой, как она пишет в своих воспоминаниях. В этих воспоминаниях, напечатанных в «Новом Русском Слове» 29 января 1950 года, Тэффи, в доказательство, что Мережковские люди холодные, неспособные к любви, рассказывает о своей встрече и разговоре с ними вскоре после смерти Философова. «Любили ли они кого-нибудь когда-нибудь простой человеческой любовью?» спрашивает она, и отвечает: «Не думаю». И она описывает встречу и разговор: «Когда-то они очень дружили с Философовым. Долгое время это было неразлучное трио. Когда в Биаррице прошел слух о смерти Философова, я подумала:

— Придется все-таки сообщить об этом Мережковским. И вот в тот же день встречаю их на улице.

— Знаете печальную весть о Философове?

— А что такое? Умер? — спросил Мережковский.

— Да.

— Неизвестно отчего? — спросил он еще и, не дожидаясь ответа, сказал:

— Ну, идем же, Зина, а то опять опоздаем и все лучшие блюда разберут. Мы сегодня обедаем в ресторане, — пояснил он мне.

Вот и все.»

На полях этого номера «Нового Русского Слова» рукой приславшей мне его знакомой дамы, кстати большой поклонницы Тэффи, пометка: «2 отвратительных личных и злобных пасквиля» (о Мережковском и Гиппиус).

На самом деле было так:

О смерти Философова Мережковские узнали не от Тэффи первой, а от Я. М. Меньшикова. В «agenda» Гиппиус записано 22-го августа 40 г. «Дм. немножко вышел. Встретил Меньшикова, который сказал, что 4 авг. **умер** Дима». И Гиппиус

приписывает две последние строчки своего «прощального» стихотворения:

Но где бы ты ни был — я с тобой,
И я люблю тебя как прежде.

А с Тэффи они о своем горе просто не хотели говорить. Дм. Серг. ее недолюбливал, считал фальшивой. Его разговор с нею передан не точно.

В своем напечатанном в «Новом Журнале», дневнике «Серое с красным» Гиппиус, 2-го сентября 40 г. записывает: «С того дня (22 авг.), как мы, встретив на улице зловещего Меньшикова, узнали, что умер Дима, я так в этом и живу. Я знала, что он умрет, что он глубоко страдает и жаждет смерти. Я даже думала, что он уже умер — трудно было себе представить, что он мог все это и себя пережить... А все-таки — лучше не знать наверно. Вот снова подтверждение, что вера — всякая, даже не моя ничтожная, а большая — **всегда** слабее любви. Чего бы проще, кажется, говорить, как Сольвейг:

Где б ни был ты — Господь тебя храни.
. . . .
А если ты уж там — к тебе приду я...

Да, приду. А если и не приду — ведь я этого не узнаю... Но мысль, что не приду и не узнаю...»

Она пережила Философова на пять лет. Со дня его смерти начинается ее «обратный путь».

XIII

В маленькой, предназначавшейся Философову тетрадке, в 64 страницы, на 52-х заметки карандашом, 12 — чистых. Первая дата 26 марта 1921 г., последняя 36 год. Месяц и число не указаны.

26-го марта 21 г. Гиппиус записывает: «Без связи. Без

цели. Так. Мне непонятно: куда исчезает все, что проходит через душу. Невысказанное. Себе — без слов. Но **бывшее.** Значит и сущее. Или даже очень "словное", и не мелькающее, а пребывающее, запомнятое, только никому не переданное, — куда оно? Вот, я умру. И куда оно? Где оно?

Притом оно, такое, не сделано, чтоб не передаваться. И оно никому, навсегда неизвестно. И столько, столько его.»

Далее о разлуке, измене и смерти. «В разлуке вольной таится ложь» (строчка из ее стихотворения: «Не разлучайся, пока ты жив»). «Уходить так сладко. Я, кажется, во сне видела уход... Я ни о чем не думаю. Я только несу в себе, во всем моем существе — одно...

В каждом маленьком "никогда больше" — самые реальные глаза смерти. Банальность этой фразы изумительна. Т. е. изумительно, что она сделалась банальной, **не сделавшись** понятной.

Впрочем, Смерть вообще самая окруженная оградой вещь. Когда говорят Смерть — подразумевают ограду, а еще чаще — ничего.

В сущности, люди не могут выносить в других **измены,** коренной перемены в своем "я". Люди сами не знают, что именно этого не могут. Однако, приходят в самое ужасное негодование и бешенство именно по этому поводу».

О Савинкове: «М. б. у Сав. мимикрия. Так переоделся, что сам поверил?

Рэйли * окончательно положил С-ва на полочку "главы боевой организации". Говорит: это не homme d'état.

Говорит, что в Варшаве более нет смысла оставаться. Предполагает, что С. уйдет нелегально соединяться с оперирующими бандами, что Антонов и Махно возьмут его начальником.

Не возьмут.

---

* Сидней Рэйли, секретарь Черчиля, прекрасно владевший русским языком. Ездил несколько раз нелегально в СССР. Во время одной поездки был убит большевиками.

Савинкова мне очень жалко. Я думала о нем больше. Или не жалко? В нем —

У меня все возмущение, весь ужас перед несправедливостью жизни — слились в один ком, или застыли одним камнем. И я хожу с ним, ношу его и он меня распирает.»

О Философове: «Дима, ты в сущности не изменился. И тут таится ужасное. Маленькая чуточка ужасного, но именно тут, в пребывании точки какой-то "сущности", не могущей измениться, но очень видоизменяется».

Гиппиус хочет сказать, что Философов остался таким, каким был до встречи с нею и с Д. С. Он только казался другим. И эта «призрачность» ее ужасает. «Ты говорил, что ты с нами "покорился" (чему?), потерял свою личность», а ты «отвечаешь за свою личность». А теперь?

Савинков, м. б. более марьируется с **внешним** уклоном твоего **«я»** (это очень трудно сказать), чем Дмитрий. Но тут нет ничего прекрасного. Тут никакой еще заслуги перед твоей «личностью». (Так как я говорю это для себя, то могу и недоговаривать).

Странно. У меня есть какое-то «облегчение», что я не должна все время «оправдывать» Дм. перед тобой, вечно чувствуя его под твоим судящим и осуждающим взором. Могу позволить ему быть грешным по-своему, быть собой. Без стыда покрывать его своей любовью.

Твой жестокий, вечный суд над ним — твой темный грех, Дима, но он простится тебе, потому что ты был в нем не волен. Ты его не хотел. Но ты не мог... Так же, как ты хотел любить меня — и тоже не мог.

Я, думая о тебе, никогда как-то не «сужу» тебя. Скорее себя. Даже очень себя. У меня нет твоих оправданий. Я не все сделала для тебя, что **могла** сделать. Я умела любить тебя, как хотела, т. е. **могла.** Но я чего-то с этой любовью не сделала.

Много чего! Много!»

Запись продолжается в Висбадене, где Мережковские проводят лето 21 г. Тема — та же: о человеке, любви и смерти.

«Никакого страха у меня перед своей смертью нет, записывает она. Только предсмертной муки еще боюсь немного. Или много? Но ведь через нее никогда не перескочишь, теперь или после.

А именно **теперь** хочется покоя. Иногда почти галлюцинация: точно уже **оттуда** смотрю, оттуда говорю. Все чужие грехи делаются легки-легки, и странно выясняются, тяжелеют свои.

Вот это главное, вот это перемена ужасно яркая, но не выразимая.

В эти минуты даже против б-в нет **злобы** (невозможность всякой именно злобы). Вовсе нет "прощения", совсем не то! Но относительно б-в понимаешь, что они ничего бы не могли без "Божьего попустительства". А Бога я "отсюда" еще могла бы судить, а когда я "оттуда" — то мысли нет, в голову не приходит, не знаю почему».

Последняя запись в 21-м году от 27 декабря: «Нет, никогда, никогда не пойму я никакой **измены.** Т. е. это слишком громко "измена". Просто не пойму, что **было,** а потом нет.

Чего ж тут не понимать? Очень просто.

"Нет благословения". Дима, ты должен вспоминать эти мои слова, как свои. Быть может, оттого ты так сердишься, такое непомерно грубое, ребячески несправедливое было твое письмо. Оттого такая жалость. Не стыдись жалеть себя.

Ты это прочтешь только если переживешь меня. Поэтому читать будешь уже наверно без страха и без злобы. Но, может быть, всетаки без понимания, я и на это готова. Остановись просто, взгляни в себя: ведь можно было уйти от **нас,** если мы лично не годны (или даже тебе неугодны), но уйти не так. Не уйти от того, что было когда-то нашим главным. От этого некуда уйти, а если стараешься, то на делах нет благословения. Я не делаю ничего, хотя я не уходила: я только **упала,** где стояла.

Ты пишешь: это было лучшее время моей жизни (когда

ушел), — а я вижу твои стиснутые зубы. Откуда же злоба, если ты доволен собой и счастлив?

Если ничего нет, все теряешь — правду нельзя потерять. С ложью нельзя и одного раза вздохнуть. И добьюсь я ее, правды, хоть одна — перед Богом».

Но если не Правды (с большой буквы), то правды о Философове она в следующем, 22-ом году, добивается: понимает, наконец, что с ним произошло. Враг снимает маску и она узнает того, с кем боролась всю жизнь — черта. Имени его она, впрочем, не произносит. Страшно: слишком близок ей человек, в образе которого он является.

В начале января 22 г. Философов приезжает по делам в Париж. Еще до его приезда, Гиппиус записывает свои впечатления от последней встречи с Савинковым, который пригласил ее и Мережковского обедать: «С-ва, когда увидала его еще этот последний раз (обед втроем), не ненавидела и **не** жалела. Поняла, что и не буду никогда уже ненавидеть, да, вероятно, и жалеть. Я скажу правду: мне было **неинтересно.** И не то, что было, а стало. И не от меня, а от него.

Все, что он говорил, и весь он — был до такой степени не он, что я **его** не видела. А тот, кого видела, мне казался неинтересным.

Он — **прошел,** т. е. с ним случилось то, что теперь случается чаще всего, и для меня понятнее всего. Оборотень. Еще один оборотень.

Может быть, Дима, и ты уже оборотень, — спрашивает она Философова, зная, что с ним произошло. По крайней мере, все, что идет от тебя теперь феноменально — идет не от **тебя,** и для тебя неестественно. Точно совсем от другого какого-то человека.

Если так, то хорошо, что я тебя не вижу и, м. б. лучше, если я тебя и вовсе более не увижу. Или нет: пусть не лучше, а все равно. Не знаю, дойду ли до этого, но хочу дойти. До полной реализации того, что ты не погиб, что ты живешь —

со мной, в моем сердце (больном) именно **ты единственный,** ты сам.

"Где был я, я сам?" тревожно, в роковую минуту, спрашивает Пер Гюнт.

И для него, как для тебя, есть это место. Не бойся.

Но когда я так думаю, мне не хочется (кажется ненужным) даже и после моей смерти отдавать эти слова тебе. Тебе — другому, ибо феноменально ты не он, и читать будет другой.

Смешение порядков, и надо их сначала очень разделить, чтобы потом они могли слиться.

Мне нужна очень большая сила. Чтобы верно хранить тебя. И чисто хранить, отдельно, цельно, не затемняя ничем своим, ни малейшей тенью».

XIV

Философов приезжает в Париж 3-го января 22 г. Мережковские приготовляют для него у себя комнату. Но он останавливается в гостинице, в отеле «д'Отэй», на рю д'Отэй. В ночь с 4 на 5 января Гиппиус записывает: «Ну, вот, милый Дима. Вчера "он" приехал в Париж. Он написал «petit bleu» В., чтобы он к нему зашел в гостиницу. Естественно, что **ты** бы пришел. И если представить себе, что он — ты, то даже смешно.

Разделила ли я до конца, т. е. **и кожно,** тебя от оборотня? Кажется, еще не вполне, но иду на это и дойду.

Неправда ли, мы понимаем с тобой, почему "он" не может быть равнодушен, так злится без всяких, казалось бы, причин внешних, почему с такой злобной досадой, желающей быть презрительной, говорит о "непотрясаемости Мережковских" — и все остальное? Это его бессилие, и он, кроме того, все время выдает себя. Что он не ты, мой ясный, мой родной, мой бедный. Он не знает, что ты жив, хотя он

и прогнал тебя из тебя. Но он подозревает что-то смутно и боится».

Эти последние строки написаны, по-видимому, после визита Философова. Он пришел 9-го января, т. е. через неделю после своего приезда. В ночь накануне его прихода Гиппиус снится сон: «Под девятое января такой сон тяжелый, рассказывает она. Дима умирает в соседней комнате (неизвестная квартира), а я почему-то не могу войти туда. Хожу из угла в угол. И умер, и какая-то горничная (это будто бы гостиница?) закрыла ему глаза. А я и тут лишь из двери едва могу выглянуть. Вижу только спину его на кровати.

С необыкновенной физической тяжестью проснулась. Опять заснула — и опять то же самое! Продолжение.

В этот день ты и пришел, Дима (ты или он). Я изо всех сил помогала ему казаться тобой. Для этого нужно ни о чем не говорить».

Философов как бы выходит из сна, из кошмара, который преследует Гиппиус. Но страшнее всего — это, что при соприкосновении с действительностью, кошмар не рассеивается. Напротив, действительность превращается в кошмар, двойник, оборотень побеждает.

Превращение Философова имеет последствия и политические. И Гиппиус это отмечает: «Тот Дима, который следовал и следует за С-вым понемножечку, шаг за шагом, от интервенции — к восстаниям, к зеленым, к "советам" без коммуны, затем к его величеству крестьянству русскому, потом куда еще? — сам не замечая, должен был дойти и до Ленина без Че-ка, т. е. совсем к абсурду. Я не буду с ним говорить об этом и для себя, и для него. Он будет оправдывать все это "политикой", а я не хочу свое больное сердце подвергать бесполезной боли. Не надо.»

Отраженно, через Философова, она поняла и Савинкова — то, что он есть на самом деле, а не то, чем кажется. В 23-м году, т. е. через год после последней встречи с ним, она записывает: «Иногда мне кажется, что никакого С-ва уже

давно нет и ты в руках злого марева, призрака. Не боюсь тут сказать, чертовой игрушки, да! да! Ведь именно черт не воплощается, и у него игрушки такие же. Не страшная это **кукла** — С-в. Только для тех, кто не знает, что это. Правда, таких и природа не любит, не терпит, ибо он — **пустота.** Я сама не знаю, когда я пришла к такой для меня бесповоротной формуле (и с таким смыслом) **пустота.** А смысл такой: С-в хуже всякого большевика, Троцкого, например. Т. е. он совсем за чертой человеческого и Божьего.

Нет, вот сказала — и мне стало страшно. Как это я смею так говорить? А может это личное, за тебя, Дима, когда я вижу, что тебя он из тебя выгнал.

Право, я сама двоюсь. И говорю — и не смею говорить, и знаю — и хочу не знать, верю, что ничего не знаю... Пусть Бог судит и видит С-ва, я не умею и не смею. Молчу. Молчу.»

И вдруг она возмутилась. Пробовала смириться — ничего не вышло: «А иной раз бунт одолевает. Ох какой! признается она в декабре 23 г. Никого не боюсь, ни тебя, Дима, ни за тебя, все мне равно, так бы, такими бы словами последними выругаться, на "благость" смотрю как на "елей"... Да и не слова, а такой бы нож, и не задумалась бы я **отрезать** тебя от С-ва, чего бы это ни стоило. Ты бы выздоровел или умер, а о С-ве я, конечно, не думаю — о пустоте-то!»

Но что «нож» поможет — она не уверена: «Я знаю, что и тогда ты бы не выздоровел **вполне.** Ты никогда не имел бы силы вернуться к прежнему (верному). Даже и тогда. Но это не нужно. Т. е. нужно, но на это я не посмотрела бы. Лишь бы выздоровел **ты** хоть немного.

Т. е. я знаю, что ты и отрезанный от С-ва — никогда не простишь мне, **что я была права.** Именно это, а не то, что я была так виновата (этого я себе не прощу).

Но чужой правоты почти никто не может простить.

Какая боль, какая боль».

И вот, наконец, 24-ый год. Предательство Савинкова, его переход на сторону большевиков. Гиппиус записывает в

ноябре: «Неужели? Неужели это совершилось? Дима, Бог рассудил, как я не думала. Как я счастлива эти дни. Я **тебя** видела, тебя выздоровевшего или выздоравливающего. После этих недель невероятного кошмара (за тебя все) — какая нечаянная радость! Эта книжка смысл потеряла. Так, для памяти, для себя. Чтобы "говорила же я..." А это и не нужно вовсе.

Вместо С-ва **обнаружилось** пустое, гадкое место, и я считаю чудом, совершившимся **для тебя,** что эта пустота обнаружилась, что ты мог **увидеть.**

Благодарение Богу за тебя, я знала, что ты не погибнешь "там", но какое счастье, что это дано здесь!

И если даже рана твоя болит, и ты скрываешь боль напряжением воли — ничего, ничего! Все будет, то есть все уже есть, ибо **ты** — ты!»

Проходит шесть месяцев. В мае 25 г. получается из Москвы известие о «самоубийстве» Савинкова. Он якобы «выбросился» из окна тюрьмы. «На меня это не произвело впечатления, — записывает Гиппиус. — Убил ли он себя или что вообще случилось — не все ли равно?

Ведь он уже годы, как умер. Да и был ли когда-нибудь?

Дима, да, ты все-таки не простишь мне (или не забудешь), что **я была права».**

Проходит 11 лет. Но, что Гиппиус за это время пережила, выражено ею в одной строчке, которой ее запись кончается. Вот эта строчка:

«Да, это пришло **слишком поздно** (для Д.)».

В 43 году, за два года до своей смерти, она посвящает Философову последнее стихотворение:

Когда-то было, меня любила
Его Психея, его Любовь.
Но он не ведал, что Дух поведал
Ему про это — не плоть и кровь.
Своим обманом он счел Психею,
Своею правдой лишь плоть и кровь.

Пошел за ними, а не за нею,
Надеясь с ними найти Любовь.
Но потерял он свою Психею
И то, что было — не будет вновь.
Ушла Психея и вместе с нею
Я потеряла его любовь.

Это **единственное** стихотворение Гиппиус, написанное в женском роде. И это, конечно, не случайно.

Глава 5

3. ГИППИУС И ЧЕРТ

Впервые о черте Гиппиус упоминает в стихотворении «Гризельда» 1895-го года.

Гризельда, ожидающая в замке возвращения с войны мужа, перенесла «неслыханные беды», ее пытался соблазнить сам «Повелитель зла».

Но сатана смирился,
Гризельдой побежден,
И враг людской склонился
Пред лучшею из жен.
Гризельда победила,
Душа ее светла...
А все ж какая сила
У духа лжи и зла.

И Гиппиус восклицает:

О, мудрый Соблазнитель,
Злой дух, ужели ты —
Непонятый Учитель
Великой красоты?

Но так восклицала в 1895 году не она одна: русских поэтов «серебряного века» связывало с французкими символистами не одно только название. Вопрос о черте — проблема зла была поставлена уже Бодлером и Верленом. Их влияние

в этом вопросе на русских символистов несомненно. Семя упало на благодарную почву.

Нет, отметить следует другое четверостишие:

Гризельда победила,
Душа ее светла
А все ж какая сила
У духа лжи и зла!

Тут, в последних двух строках — поворот от созерцания к действию, — еще робкий, полусознательный, но уже роковым образом неудержимый. Впрочем, яд действует медленно. Пройдет 7 лет прежде, чем она, как всегда, с передельной ясностью, выразит в стихотворении «Божья Тварь» свои чувства к Дьяволу. В промежутке, в 1901 г. — за год до этого — непонятные для непосвященных строки о чудовище, которое все куда-то ее зовет и сулит спасение:

Мое одиночество бездонное, безгранное,
Но такое душное, такое тесное;
Приползло ко мне чудовище ласковое, странное,
Мне в глаза глядит и что-то думает — неизвестное.

Что оно думает — она узнает не скоро. Но вот что о чудовище думает она сама:

За Дьявола Тебя молю,
Господь! И он — Твое созданье,
Я Дьявола за то люблю,
Что вижу в нем — мое страданье.

Борясь и мучаясь, он сеть
Свою заботливо сплетает...
И не могу я не жалеть
Того, кто, как и я, — страдает.

Когда восстанет наша плоть
В Твоем суде, для воздаянья,
О, отпусти ему, Господь,
Его безумство — за страданья...

Она братски разделяет с дьяволом его страданье — результат их общего безумья. В чем именно это безумие мы узнаем в свое время. А сейчас о ее трех встречах с чертом.

О первой — стихотворение «В черту», помеченное 1905-м годом. Привожу его полностью:

Он пришел ко мне, — а кто, не знаю,
Очертил вокруг меня кольцо.
Он сказал, что я его не знаю,
Но плащем закрыл себе лицо.
Я просил его, чтоб он помедлил,
Отошел, не трогал, подождал.
Если можно, чтоб еще помедлил
И в кольцо меня не замыкал.
Удивился Темный: «Что могу я?»
Засмеялся тихо под плащем.
«Твой же грех обвился, — что могу я?
Твой же грех обвил тебя кольцом».
Уходя сказал еще: «Ты жалок!»
Уходя, меникая в пустоту,
«Разорви кольцо, не будь так жалок!
Разорви и вытяни в черту.»
Он ушел, но он опять вернется,
Он ушел и не открыл лица.
Что мне делать, если он вернется?
Не могу я разорвать кольца.

Здесь сразу бросается в глаза, что черт приходит к ней отнюдь не как соблазнитель, ибо ее паденье совершилось до его прихода, а в некотором роде как бы для составления «протокола». Он, говоря современным русским языком, «констатирует факт». Далее следует отметить, что ведет он себя совсем не по-«чертовски». Он старается уязвить ее самолюбие, явно желая ей этим помочь «разорвать кольцо», — выйти из того неприятного положения, в какое она сама себя поставила. Кто он, на самом деле, — неизвестно. Однако, есть все основания предполагать, что под плащем — ангел, а не черт.

Вторая встреча через 13 лет, в сентябре 1918 г. в Петер-

бурге (прошу запомнить эту дату). О ней в стихотворении «Час Победы». Заглавие многообещающее:

Он опять пришел — глядит презрительно
(Кто — не знаю, просто Он, в плаще)
И смеется: «Это утомительно,
Надо кончить силою вещей.
Я устал следить за жалкой битвою,
А мои минуты на счету.
Целы, не разорваны круги твои,
Ни один не вытянут в черту.
Иль душа доселе не отгрезила?
Я мечтаний долгих не люблю.
Кольца очугуню, ожелезю я
И надежно скрепы заклеплю».
Снял перчатки он с улыбкой гадкою
И схватился за концы кольца...
Но его же черною перчаткою
Я в лицо ударил пришлеца.
Нет! Лишь кровью может быть запаяно
И распаяно мое кольцо!...
Плащ упал, отвеянный нечаянно,
Обнажая мертвое лицо.
Я взглянул в глаза его знакомые,
Я взглянул, и сник он в пустоту.
В этот час победное кольцо мое
В огненную выгнулось черту.

Итак черт вернулся; предчувствие Гиппиус ее не обмануло. Но это уже не «декадентский» черт в романтическом плаще, а черт 18-го года, в крылатке и в перчатках (в черных, конечно, а то в каких же?) — чекист-провокатор. Она его побеждает магическим словом «кровь» (ему ли ее бояться и не потому ли он в перчатках, что руки у него в крови?), и он, как и его предшественник, «сникает в пустоту».

Но победа Гиппиус лишь на бумаге: «сникает» черт исключительно из уважения к ее литературным заслугам. Иначе ему незачем было бы являться в третий раз.

И вот эта третья встреча — уже в эмиграции. Дата не

указана (предположительно между 1925-30 гг.). Она описана с присущим Гиппиус мастерством, — в стихотворении «Равнодушие».

Он приходит теперь не так.
Принимает рабий зрак.
Изгибается весь покорно
И садится тишком в углу,
Вдали от меня, на полу,
Похихикивая притворно,
Шепчет: «Я ведь зашел, любя,
Просто так, взглянуть на тебя,
Мешать не буду, — не смею...
Посижу в своем уголку,
Устанешь — тебя развлеку,
Я разные штучки умею...
Хочешь в ближнего поглядеть?
Это со смеху умереть!
Назови мне только любого
Укажи скорей хоть кого,
И сейчас же тебя в него
Превращу я, честное слово!
  На миг, не навек! Чтоб узнать,
  Чтобы в шкуре его побывать...
  Как минуточку в ней побудешь,
  Узнаешь, где правда, где ложь.
  Все до донышка там поймешь,
  А поймешь — не скоро забудешь.
Что же ты? Поболтай со мной...
Не забавно? Постой, постой,
И другие я знаю штучки...»
Так шептал, лепетал в углу,
Жалкий, маленький, на полу,
Подгибая тонкие ручки.
  Разъедал его тайный страх,
  Что отвечу я? Ждал и чах,
  Обещаясь мне быть послушен.
  От работы и в этот раз
  На него я не поднял глаз,
  Неответен и равнодушен.
Уходи, — оставайся со мной,
Извивайся, — но мой покой

Не тобою будет нарушен...
И растаял он на глазах,
На глазах растворился в прах,
Оттого, что я равнодушен.

Извиняюсь за столь длинную цитату, но из длинных она — последняя. Зато, благодаря ей, нам дана возможность черта поздравить: в первый раз он ведет себя, как должен вести себя черт: он искушает, хотя и является в образе «дрожащей твари». Несмотря, однако, на свое унизительно-жалкое состояние, он до последней минуты не сдается. Она делает вид, что его не замечает, что его как будто нет, и от ее презрительного равнодушия он «тает, растворяется в прах».

Но равнодушие Гиппиус притворно. На самом деле тайный страх разъедает не его, а ее, и она всеми силами старается его от черта скрыть. Но и черт притворяется. Он лишь делает вид, что искушает: его соблазну поглядеть в душу ближнего, убедиться на опыте в ничтожестве тех, кто ее окружает (особенно людей ей близких) она, как об этом свидетельствуют ее стихи, поддалась давно. Вот одно из них, наиболее характерное — «Наставление»:

Молчи. Молчи. Не говори с людьми,
Не подымай с души покрова.
Все люди на земле — пойми! Пойми!
Ни одного не стоят слова.
  Не плачь. Не плачь. Блажен, кто от людей
  Свои печали вольно скроет.
  Весь этот мир одной слезы твоей,
  Да и ничьей слезы не стоит.
Таись, стыдись страданья твоего,
Иди — и проходи спокойно.
Ни слов, ни слез, ни вздоха — ничего
Земля и люди недостойны.

А вот другое, не менее убедительное:

Казалось, больше никогда
Молчания души я не нарушу,
Но вспыхнула в окне звезда,
И я опять свою жалею душу.

Все умерло в душе давно.
Угасли ненависть и возмущенье.
О, бедная душа, одно
Осталось в ней — брезгливое презренье.

Что же черту, в конце концов, от нее надо, и почему она в таком смертном страхе?

После столь блестяще ею описанного «Часа Победы», она поняла, не могла при своем уме не понять, да и слишком было очевидно, что оружия — никакого — кроме поэтической казуистики, прикрывающей, в сущности, довольно примитивный рационализм, против черта у нее нет! С точки зрения религиозного сознания это был полный провал, несколько, правда, неожиданный после тех «вершин», какие, казалось, были ею в этой области достигнуты. Но если где-либо и когда-либо ее гениальность проявила себя в совершенной силе, то именно в эту минуту, когда ею была создана против черта защита — оружие, какое при известных условиях могло оградить ее от гибели.

Она знала, предчувственным знанием, что неизбежно столкнется с чертом еще раз, знала, что в этот последний раз он против нее поднимет все силы ада, и она приняла меры, чтобы в страшный час не оказаться с пустыми руками.

Одним из непременных условий победы была тайна: об этом не должен знать никто. Она старается, чтобы даже Бог «не увидел и не подслушал». Иначе оружие потеряет свою силу.

Однако, до черта — неизвестно как — что-то дошло (может быть как раз через Бога). Он забеспокоился. Ему во что бы то ни стало надо было узнать, в чем дело, и, приняв «рабий зрак», он в третий раз является к Гиппиус. Вот настоящая цель его визита. Мы знаем, что его постигла неудача — полная. Гиппиус не проронила ни слова, и он ретировался, как говорят, «не солоно хлебавши».

Что это за оружие, каким отныне Гиппиус владела, и в чем его спасительная сила — об этом подробно ниже, а сейчас вернемся к вопросу о черте, как о «Божьей твари».

С этим, как бы «вторым» чертом Гиппиус не только не во вражде, напротив, разделяет с ним по-братски его страдание, результат их общего безумия... Но, чтобы избежать путаницы, мы должны твердо помнить, что под какой бы личиной черт ни являлся, какие бы чувства ни возбуждал — это все тот же черт, все тот же человекоубийца, каким был всегда и пребудет вовек. Но в раздвоенности религиозного сознания для Гиппиус — опасность величайшая, опасность, что ее метафизическая над чертом победа потеряет свой внутренний смысл, станет как бы не бывшей. И реальное против черта оружие — результат этой победы — упразднится само собой, превратится, пожалуй, с точки зрения общечеловеческой морали в нечто весьма неблаговидное, ибо как на «бедного страдающего брата» поднять руку! Но черту только это и надо.

Однако, что следует понимать под «безумием» черта, безумием, какое столь неосторожно разделяет с ним Гиппиус?

Ответить на этот вопрос не так просто, и, возможно, что мой несколько любительский подход к столь важной теме покажется просвещенному читателю поверхностным. Заранее прошу его о снисхождении.

Черт хочет — хотел всегда и **до**, и **после** своего падения (что было причиной его падения) — вечно длящегося блаженства с Богом наедине и чтобы, кроме этого, не было ничего, «Les amoureux sont seuls au monde», — мир для влюбленных не существует. Но Бог — троичен, и, отрицая мир, черт отрицает троичность Божества, Его сокровеннейшую сущность, вне которой — нет ничего, то есть **все невозможно** и всего невозможнее любовь.

Не случайно Гиппиус в 1922 г. записывает в своем дневнике: «Все страдание от любви. Всяческой — сознательной и бессознательной притом, потому что всякая любовь (жизнь) есть потеря.»

Для черта сегодняшнего человек, человечество, мировая история, только преграда между ним и Богом. Он ее разрушает и в своем разрушении — неутомим. Но чем он больше

старается к Богу приблизиться, тем Бог от него дальше. Противоречие неразрешимое, и в этой неразрешимости — причина страдания черта и его безумия. Он пребывает в состоянии как бы вечного падения. Многие непонятные для нас стихи Гиппиус становятся в этом свете ясными. За примером ходить недалеко. Вот «Все равно».

Нет, из слабости истощающей
   Никуда! Никуда!
Сердце мое обтекающей
   Как вода! Как вода!

Ужель написано — и кем оно?
   В небесах,
Чтоб въедались в душу два демона
   Надежда и страх?

Не спасусь, я борюсь
   Так давно! Так давно!
Все равно упаду, уж скорей бы ко дну,
   Но где дно?

Она чувствует, что пропасть бездонна. Но что ей имя — безумие, то самое безумие, какое она разделяет с чертом, не понимает и не поймет до последней минуты.

В самом начале девятисотых годов, когда Мережковский еще проводит в своих романах «Юлиан» и «Леонардо» идею двойственности — «небо вверху, небо внизу» — она поглощена разработкой одной идеи, ставшей для нее, как она в своей книге о Мережковском пишет, чем-то вроде «idée fixe». Эта идея — «тройственное устройство мира».

В своем увлечении она несомненно искренна. Но разрабатывая свою «idée fixe» в плане ее проведения в жизнь, она снова сталкивается с вопросом о зле, без разрешения которого ее идея — отвлеченная схема, мертворожденный младенец (если черту было что-либо не по душе, то именно это «тройственное устройство мира»). И тут за ее, уже по-новому звучащими словами, чувствуется странная пустота, необъяснимая не чем иным, как только отсутствием личного опыта.

Это неожиданно и вполне справедливо удивляет. Она казалась и на самом деле была человеком в высшей степени уравновешенным. Но ее душевное равновесие в действительности равновесием не было, а лишь невозможностью, — внутреннего конфликта. Ее душа была устроена странно: добро и зло в ней чередовались, не сталкиваясь. Когда на сцене появлялся ангел, — черт исчезал, и наоборот. И вот ей все чаще начинает казаться, что это — **одно** лицо, с ловкостью Фреголи переодевающееся за кулисами. Но в чувствах путаница.

Смены — мгновенны. От их постоянного мерцания, качания, у нее начинает кружиться голова и усиливается не покидающее ее чувство тошноты. «Тошнит, как в аду», скажет она потом. И она слабеет физически.

Все Я мое, как маятник, качается,
и длинен, длинен размах.
Качается, скользит, перемежается
то надежда, то страх.

От знания, незнания, мерцания
умирает моя плоть.
Безумного качания страдание
Ты ль осудишь, Господь?

Прерви его и зыбкое мучение
Останови! Останови!
Но только не на ужасе падения,
А на взлете — на любви.

Но ее молитва не была услышана. И маятник продолжает качаться. Только его размах постепенно становится короче.

В 1934 г., через 15 лет после того как она обеспечила себе над чертом победу, следующие четыре строчки из стихотворения «8-го ноября» (день ее рождения):

Пахнет розами и неизбежностью,
Кто поможет, и как помочь?
Вечные смены, вечные смежности,
Лето и осень — день и ночь.

В этих простых, бедных строчках, на которые как на заплаканные детские лица никто не обращает внимания, — вся трагедия ее души.

А маятник все качается — то надежда:
Я верю в счастие освобождения,
то страх:
Страшно оттого, что не живется — снится...
И все двоится, все четверится.

В тридцатых годах, в связи с книгой Мережковского «Иисус Неизвестный», она посвящает ему восьмистишие, в каком высказывается против чрезмерного мудрствования о воскресении Христа, мудрствования, к какому Мережковский был всегда несколько склонен:

Не пытай ни о чем дорогой,
Легкой ткани льняной не трогай,
И в пыли не пытай следов, —
Не ищи невозможных слов.

Посмотри, как блаженны дети,
Будем просты сердцем и мы.
Нету слов об этом на свете,
Кроме слов — последних — Фомы.

«Господь мой и Бог мой»! Но не успела она произнести эти слова, как происходит нечто страшное: на одно какое-то мгновение в нее входит бес, и уже не своим голосом она хрипит:

Когда я воскрес из мертвых,
Одно меня поразило:
Что это восстанье из мертвых
И все, что когда-нибудь было —
Все просто, все так как надо...
Мне раньше бы догадаться!
И грызла меня досада,
Что не успел догадаться.

Еще в 18-ом году, когда она, в мертвом Петербурге, над которым «распростерся грех», плача, повторяла: « Сердце мое, воскресни! Воскресни!», знакомый ей с детства голос шептал: «Воскресение — не для всех». Теперь она думает, что уже воскресла. Отлично. Так вот ей, ко дню ее преждевременного воскресения — подарок: красное яичко.

Она пишет и подписывает своим именем следующие строки:

Не предавайся никакой надежде
И сожаленью о былом не верь.
Не говори, что лучше было прежде,
Ведь, как в яйце змеином, в этом Прежде
Таилось наше страшное Теперь,
И скорлупа еще не вся отпала,
Лишь треснула немного, — погляди,
Змея головку только показала,
Но и змеенышей в яйце немало...

Без отвращенья, холодно следи:
Ползут они скользящей чередою,
Ползут, ползут за первою змеею,
Свивая туго за кольцом кольцо...

Ах да! И то, что мы зовем землею, —
Не вся ль земля — змеиное яйцо!

В доказательство, что когда Гиппиус писала это стихотворение, она не была собой, приведу первое и последние четверостишие ее же стихотворения «Божья» от ноября 16-го г.:

Милая, верная, от века Суженная,
Чистый цветок миндаля,
Божьим дыханьем к любви разбуженная,
Радость моя — Земля!

....

Всю я тебя люблю, Единственная,
Вся ты моя, моя!
Вместе воскреснем за гранью таинственною,
Вместе, — и ты, и я!

В этом самоотрицании, впрочем, — нового ничего. Оно существовало всегда, в большей или в меньшей степени, и отражалось в ее поэзии не в столь, может быть, категорической форме, не не менее выразительно. Вот, например, начало написанного ею в 1908 г. стихотворенния «Земля»:

Пустынный шар в пустой пустыне,
Как Диавола раздумие...
Висел всегда, висит поныне...
Безумие! Безумие!

Тогда она еще сознавала, что мир в том виде, в каком он ей иногда рисовался — безумие. Теперь же, когда она действительно коснулась дна, она это безумие не сознает, во всяком случае слова этого не произносит. Вот, может быть, из всех ее стихотворений, — самое страшное.

Вскипают волны тошноты нездешней
И в черный рассыпаются туман,
И вновь во тьму, которой нет кромешней,
Скользят назад, в подземный океан.

Припадком боли горестно-сердечной
Зовем мы это здесь, но боль — не то.
Для тошноты подземной и навечной
Все здешние слова — ничто.

Пред болью всяческой на избавленье
Надежд раскинута живая сеть.
На встречу новую, на дружбу, на забвенье,
Иль, наконец, надежда умереть.

Будь счастлив, Дант, что по заботе друга,
В жилище мертвых ты не все узнал,
Что спутник твой отвел тебя от круга
Последнего. Его ты не видал.
И если б ты не умер от испуга,
Нам все равно о нем бы не сказал.

Из этого явствует, что в ад она заглянула глубже, чем Дант. О том же, что ей в последнем круге открылось, она

молчит. Однако, это не такая уж тайна: черт — логик и математик, и его цель неизменно одна. Там, на дне ада, в его последнем круге, она как бы воочию убедилась, что **Бог есть дьявол**... Ее безумие — доведенная до конца чертова логика.

После ее смерти в ее бумагах найдено было стихотворение, написанное ею как бы от лица окончательно охамевшего дьявола. Он будто бы сидит за столом против нее, в образе ее лучшего друга и молча о чем-то думает. Но она угадывает его мысли (что не трудно, ибо он — в ней). Привожу последнее четверостишие этого воистину смердяковского произведения:

На харю старческую хмуро
Смотрю и каменно молчу.
О чем угодно думай, дура,
А я о духе — не хочу.

*

Чем же она спаслась?

За несколько дней до 8-го ноября 1918 г., дня ее рождения (напоминаю, что она родилась в день Архистратига Михаила и всех небесных сил), она пишет в большевистском Петербурге стихотворение, озаглавленное «Дни».

Все дни изломаны как преступлением,
Седого времени заржавел ход.
И тело сковано оцепенением,
И сердце сдавлено, и кровь — как лед.
Но знаю молнии: все изменяется...
Во сне пророческом иль наяву?
Копье Архангела меня касается
Ожогом пламенным — и я живу!...

Этот «ожог» — восьмистишие, озаглавленное «8», написанное ею 8-го ноября того же года, в день ее рожденья. Но две последние строчки второго четверостишия, в каждой из которых по 4 слова, она не записывает, а ставит вместо слов

тире. Вот это стихотворение, каким оно записано в ее черновой тетради — «лаборатории стихов», а затем переписано в «брюсовскую», подаренную ей Валерием Брюсовым, тетрадь:

8

Восемь слов в сердце горят,
Но сказать их не осмелюсь.
Есть черта — о ней молчат,
И нельзя переступить через.
А все таки, ведь никто не поймет,
Что слова эти налиты кровью!
« — — — —
— — — —»

Она показывает эти 6 строк пришедшему ее поздравить с днем рожденья другу дома и спрашивает: «Догадыватесь?» Это — проверка. Она боится, что по рифме «кровью — любовью» можно догадаться о содержании двух последних строк. Но спрошенный не понимает ни этих строк, ни самого стихотворения, и она успокаивается.

Проходит 27 лет, она умирает и уносит свою тайну в могилу.

Чтобы тайну эту выпытать черт и явился к ней в третий раз. И если его постигла неудача, то исключительно оттого, что «волшебные слова» никем, ни разу, даже ею самой, не были произнесены вслух.

Не в предчувствии ли этих «волшебных слов» написано ею, в июне 1918 г. стихотворение «Есть речи»:

У каждого свои волшебные слова,
Они как будто ничего не значат,
Но вспомнятся, скользнут, мелькнут едва, —
И сердце засмеется и заплачет.

Я повторять их не люблю. Я берегу
Их от себя, нарочно забывая.
Они мне встретятся на новом берегу:
Они написаны на двери рая.

Этих ее слов мы не узнаем никогда. Их точный смысл потерян для нас безвозвратно.

Но если иметь капельку фантазии, представить себе ее жизнь в конце 18-го года в большевистском Петербурге, постараться понять ее тогдашнее душевное состояние, какая проблема именно в те дни мучила ее всего больше, и если ко всему этому прибавить еще некоторое дерзновение, не говоря уже о личной интуиции, то вот, приблизительно, содержание незаписанных ею восьми слов:

8

Восемь слов в сердце горят,
Но сказать их не осмелюсь.
Есть черта — о ней молчат
И нельзя переступить через.

А все таки: ведь никто не поймет,
Что слова эти налиты кровью:
«Но свободою Бог зовет,
Что мы называем любовью».

В чем же сила этих как бы простых, обыкновенных слов?

А вот в чем:

«Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр. 2, 17).

Это новое имя и есть **СВОБОДА,** новое имя любви, совершенное откровение Божественного Триединства. Оно дается побеждающему вместе с «сокровенной манной» — началом несокрушимых духовных сил, вкушая которую, он как бы приобщается божественной природе.

А почему 8 слов?

Ей в этом стихотворении, более чем где-либо, важно было подчеркнуть, что она родилась в день одержавшего над

диаволом победу Архистратига Михаила, и что она находится под его защитой. Но эта причина — не главная.

А главная вот:

Число креста четыре, восемь горящих в ее сердце слов как бы двоящийся в трепете пламени огненный крест, приносимая втайне двойная жертва — Бога за мир и мира за пришествие Духа: «Да приидет Царствие Твое».

И когда налетела на нее, идущая из глубины вечности, буря смерти и обрушились силы ада, и она впервые оказалась лицом к лицу со снявшим маску врагом, то и помогавший ей в борьбе Архистратиг Михаил со своим воинством не спас бы ее, если бы в эту минуту не было у нее в руках оружие непобедимое — Огненный Крест.

Глава 6

ЗА ЧАС ДО МАНИФЕСТА

З. Гиппиус была ярая антибольшевичка. Ее отношение к большевикам — к партии социал-демократов — вполне определилось уже в 1905 г., о чем свидетельствует письмо к Дмитрию Владимировичу Философову от 7 декабря 1905 г. На первой странице этого письма, наверху справа — отметка: «Писано за час до манифеста».

Каково бы ни было политическое значение этого документа, нельзя отказать Гиппиус ни в проницательности, ни в стремлении к объективной оценке происходивших тогда в России событий, в частности — работы социал-демократической партии, ее программы и методов проведения этой программы в жизнь.

Тогда, в 1905 году, значение, какое Гиппиус придает социал-демократам, нынешним большевикам, и ее абсолютная уверенность в их конечной победе, могли казаться и многим, наверно, казались преувеличенными. Ныне эти сбывшиеся пророчества, по сравнению с тем, что мы, русские, пережили и что нас и наших потомков ждет в будущем, кажутся бледными схемами. У Достоевского, в его «демонологии» («Бесы»), где с удивительной точностью вскрыта истинная природа большевизма и даже угадано время переворота (после Покрова) — картина куда ярче и страшнее. Все это, однако, верно лишь поскольку мы остаемся в рамкак данного документа. Да и сама Гиппиус делает в начале письма оговорку:

«Я все это пишу, — замечает она в скобках, — абсолютно без всяких рассуждений, без метафизики, совсем иначе нежели всегда. Под другим углом».

Нет, дело вовсе не в том, что у Гиппиус не хватило воображения или что атмосферу большевистского октября она плохо улавливала. Напротив. Немногим дано было чувствовать смертоносность идущей на мир грозы, так, как ее чувствовала она, и следить за ее приближением с той тревогой, с какой она следила. Этой вещей тревоги полно большинство ее произведений, особенно стихи. Так, в канун рокового 14-го года, она пишет:

На сердце непонятная тревога,
Предчувствий непонятных бред.
Гляжу вперед — и так темна дорога,
Что, может быть, совсем дороги нет!

Но словом прикоснуться не умею
К живущему во мне — и в тишине.
Я даже чувствовать не смею:
Оно как сон. Оно как сон во сне.

О, непонятная моя тревога!
Она томительней день ото дня.
И знаю: скорбь, что ныне у порога,
Вся эта скорбь — не только для меня.

Но ведь в том-то и беда, что, чувствуя всем своим существем близость катастрофы, — стихотворение озаглавлено «У порога» —, она не находит для нее имени, не связывает ее ни с какой земной действительностью, не сознает, что душивший ее всю жизнь кошмар гибели, перед видением которого она немеет, — неизбежное следствие неизбежной победы большевиков, на глазах у всех делающих свое темное дело.

Вот, главным образом, отчего в своем письме к Филосо-

фову, где она, — что чрезвычайно характерно — революцию промежуточную, «февральскую» не предусматривает, считая единственно возможными победителями большевиков, — в их победе не видит ничего страшного. И в этом, т.е. в разрыве между чувством и сознанием, в постоянно двоящейся воле, а временами в ее полном параличе — трагедия не только Гиппиус, но и многих ее современников.

Что же касается самого документа, — письма Гиппиус к Д. Философову, — то на правой стороне, наверху число: Понедельник, 17 октября 05 г., в левом верхнем углу евангельская цитата: «По делам их узнаете истину их». Сбоку карандашная отметка: «Писано за час до манифеста». А вообще, в начале этой главы я поставил бы эпиграфом заключительные четыре строчки стихотворения Д. Мережковского «Касандра»:

Ты знала путь к заветным строкам,
И в свете дня ты зрела ночь.
Но мщение судеб — пророкам
Все знать и ничего не мочь.

Манифест 17 октября 1905 г. и был для большевиков таким камнем на дороге, в какой превратился бы и проект конституции Лорис-Меликова, если б Александр Второй успел его подписать. Но 1 марта 1881 г. он был убит. Александр же Третий нашел проект несвоевременным и подписать его отказался, сыграв этим в руку революционерам.

Реформа между тем была весьма скромная: дело шло отнюдь не о введении в России парламентарной системы на манер английской, а всего лишь о создании совещательного органа из выбранных в разных слоях общества народных представителей.

По той же причине и теми же революционерами был в царствование Николая Второго убит П. А. Столыпин. Его земская реформа принадлежала также к числу тормозящих революцию камней на дороге.

Но, вернемся к письму Гиппиус. «Этот внутренний террор, продолжает она с большим знанием дела, отвлечет крестьян от какой бы то ни было — попытки даже — восстания против временного правительства, которое оно, впрочем, должно иметь силу победить насилием, — ведь оно должно продержаться, а может только силой...»

Но тут Гиппиус как бы просыпается от «гипнотического сна» **и** ее пророческое зрение мутнеет. Вот что она пишет по поводу созыва учредительного собрания (которое «большевики не хотят») и его работы: «Наконец, общее учредительное собрание, **мирно** (курсив Гиппиус) вырабатывающее общие коммунистические положения. Забыла сказать, что они (большевики В. З.) совершенно опять таки правильно, не боятся буржуазии».

Но, увы! мы знаем, что выбранное — при большевиках — учредительное собрание была победа соц. революционеров, имевших в этом первом русском парламенте абсолютное большинство. Мы знаем также, что оно было большевиками разогнано, и роль, какую в этом деле сыграл матрос Железняк. Кстати, в скобках, — в своих напечатанных в «Новом Журнале» воспоминаниях А. Ф. Керенский рассказывает, как он, в более-менее неузнаваемом виде, на этом собрании присутствовал.

Но связь с Россией — физическую, плотскую — связь с матерью, порвать не легко. И как ни хороша свобода, Россия ей всегда недоставала. В Варшаве, куда она с Мережковским, сразу после бегства попадает, она заканчивает свой дневник следующим коротким стихотворением.

Там я люблю иль ненавижу,
Но понимаю всех равно
И лгущих и обманутых
И петлю вьющих
И петлей стянутых.
А здесь я никого не вижу
Мне — все равно. И все равно.

В Варшаве Мережковские остаются 9 месяцев, потом переезжают в Париж. Они всячески стараются втолковать европейцам, что большевизм — опасность мировая. Но их никто не слушает. Европа устала от войны, она отдыхает, веселится и ни о какой вооруженной интервенции против большевиков и думать не хочет.

Слушает Мережковских только одна Германия. Слушает... и готовится к реваншу.

Глава 7

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ Д. МЕРЕЖКОВСКОГО И З. ГИППИУС

I

Дмитрий Сергеевич Мережковский умер внезапно в Париже, в воскресенье 7-го декабря 1941 года, в день, когда Япония вступила во вторую мировую войну. Ему шел 77-ой год.

Он не был болен. Вообще болел редко. За двадцать последних лет своей жизни он провел больным в кровати не более 3-4 дней. Неизбежные гриппы он терпеливо высиживал дома, продолжая работать. Одно из исключительных свойств его природы было полное отсутствие лени. Он писал немного, несколько часов по утрам, но каждый день, посвящая остальное время чтению и подготовке следующей книги. Отвлечь его, однако, от утренней работы не могло ничто, никакая болезнь. Но его жена, Зинаида Николаевна Гиппиус, при малейшем его нездоровье, начинала беспокоиться, пристально, с затаенной тревогой, за ним следить и, пока он не поправлялся, не выпускала его из дому. Из-за этого между ними часто происходили ссоры. Д. С., чувствуя себя лучше, рвался гулять, особенно когда погода была хорошая — «гулянье — свет, а негулянье — тьма», говорил он. З. Н. не пускала, находя, что он еще недостаточно «высидел». Не желая ее огорчать, Д. С. уступал. Гуляли они всегда вместе, в последний год она не отпускала его одного ни на шаг; даже к парикмахеру. Боялась, что с ним что-нибудь случится.

Этот ее постоянный страх за Д. С. казался необъяснимым, глупым, иногда смешным. Но что ей было делать? Он ее преследовал и чем дальше, тем неотступнее. Она бы и рада была от него избавиться, да как? «Я с детства отравлена смертью и любовью», — пишет она в своем дневнике. «... Я еще живу, потому что любовь еще владеет мною и выражается страхом». Но то, что она так боится, принимает на фоне общей мировой катастрофы почти осязательную форму: «Боже мой, Боже мой! что будет в моей новой зеленой ажанде?» спрашивает она в канун 41-го года. Это — больше, чем предчувствие. Это — знание. Она как бы знает, что Д. С. умрет первым и что смерть его подстерегает. Но так как «времена и сроки» от нас скрыты, всякую болезнь Д. С. она переживает как смертельную, всякий наступающий день — как последний.

Есть счастье у нас, поверьте.
   И всем дано его знать.
В том счастье, что мы о смерти
   Умеем вдруг забывать.
Не разумом ложно смелым,
   (Пусть знает, твердит свое),
Но чувственно, кровью, телом
   Не помним мы про нее.

Бедная З. Н.! Как лег на нее в детстве гробовой камень, так и до сих пор лежит. Хоть иногда вздохнуть свободно — и то счастье. Но и оно почти недоступно. Все напоминает о смерти. «Вот слово, будто меж строк, глаза больного ребенка» — и кончено: «опять отравлена кровь». Если б даже она смирилась, признала, что все — в воле Божьей, что пытать ее нельзя и не надо — перед смертью все равны — могла ли бы она забыть то, что ей открыто и что не помнить — не дано? Но раз нельзя «забыть будущее», почему бы не попытаться его исправить, изменить судьбу? И она эту отчаянную попытку делает, решает, что первая из жизни уйдет — она, убеждая себя, что и Бог иначе решить не может, не

должен. Ей кажется, что и для нее и для всех лучшего выхода — нет. «Моя смерть — какое освобождение!» И она серьезно начинает к ней готовиться.

6-го января, в русский сочельник 1922 г., почти за 20 лет до смерти Д. С., она обрывает свою запись и красным карандашом ставит внизу страницы большой крест. На следующей, через месяц, она пишет огромными буквами: «Конец всем моим дневникам; отсюда, от дня, которого не будет более сто лет, — 2-2-22 — начинается мое **заключительное слово»**.

Но эта попытка духовного самоубийства — «потушить душу», как она говорит, — не удается. Она слишком «живуча», слишком еще полна сил, которые так и не найдут себе применения. И сколько бы она ни пыталась внутренно себя уничтожить — своей воли к жизни ей не сломить. Да и Бог Своего решения не меняет: «Нет, нет, затянуться туманом, — пишет она в конце «Заключительного слова». Быть «около себя», потушить душу действительно, т. е. и для себя самого. Потому что я не могу, не могу! Нельзя выдержать!» Однако, она выдерживает, несмотря на «пытку страхом», от которой ей уже деваться некуда. Но втайне она продолжает надеяться, что смерти Д. С. не увидит, уйдет первая. Если же Бог решения Своего не изменит, — тем хуже для Него.

Но предчувствовал ли свою смерть сам Д. С.? сказать с уверенностью — трудно. Ни дневников, ни писем, кроме — за редкими исключениями — деловых, он после себя не оставил. По свидетельству З. Н., он к смерти был готов и принимал ее спокойно. Есть на это указания и в его последних стихах:

Склоняется солнце, кончается путь;
Ночлег недалеко, — пора отдохнуть!

Или:

Скоро скажу я с улыбкой сыновней:
Здравствуй, родимая Смерть.

Но действительно ли предчувствовал Д. С. свою смерть или только случайно о ней думал — кто в старости не ду-

мает, порой, о смерти, — не важно. Важно, как он к ней относится, на что надеется. З. Н. в одном из своих стихотворений говорит о смерти:

А я ее всякую ненавижу,
Только свою люблю, неизвестную.

Любит ее и Д. С., но не за то, что она «горю земному — предел неземной», что тоже особой оригинальностью не отличалось бы. Он ее любит как избавительницу от двойного изгнания, за «вечную радость», какую она предвещает — радость райского соединения родины земной и небесной. Мысль о смерти неразлучна у него с мыслью о России. И не случайно его последний разговор с З. Н. накануне смерти — о России. Как и для древних египтян, смерть для него — возвращение на родину. В своем стихотворении «Сонное», из всех его последних стихов, единственно действительно пророческом, без «предчувствий» и надсоновских восклицаний, он удивительно просто и хорошо рассказывает о каком-то видении, сокровенный смысл которого от него тоже может быть не случайно, ускользает:

Что это — утро, вечер?
Где это было — не знаю.
. . . .
Тишь, глушь, бездорожье,
В алых маках межи.
Русское, русское — Божье
Поле зреющей ржи.
Господи, что это значит?

спрашивает он, не понимая. Но душа его плачет от радости, как будто чувствует близкий конец разлуки.

И чем ближе этот конец, тем неземное становится для него все более земным, родным, русским — человеческим:

Господи, иду в неизвестное.
Но пусть оно будет родное.
Пусть мне будет небесное
Такое же, как земное.

Эту молитву З. Н-ны мог бы повторить и он. Кстати, она отмечает в своей записной книжке: «Тот свет — ближе и доступнее, чем Россия». А что до этого, то он кажется Д. С-чу все грубее, все нечеловечнее. Перечитывая стихи Ходасевича, он подчеркивает строчку: «В непрочной грубости живем» и, может быть, ею навеяно его стихотворение «Главное»:

Доброе, злое, ничтожное, славное, —
Может быть, это все пустяки,
А самое главное, самое главное
То, что страшней даже смертной тоски, —

Грубость духа, грубость материи,
Грубость жизни, любви — всего...

Торжество этой грубости, дикости, нечеловеческого в человеке, — война. Он ее задолго предсказывает в своей книге «Атлантида — Европа», и уже по заглавию видно, что он от нее ждет. Но всю тяжесть двойного изгнания, — двойной потери, он по-настоящему начинает чувствовать в 39 г., когда наступает катастрофа. Россия провалилась, но был мир. И вот мир тоже провалился. Царство лжи и человекоубийства — земной ад, в котором он проведет два последние года жизни, пышным цветом расцветает на месте, где некогда была Европа — «страна святых чудес».

Война застает Мережковских в Париже. Опасаясь воздушных бомбардировок, французское правительство усиленно рекомендует всем, кто может, покинуть столицу. Паника преждевременная: — непосредственной опасности Парижу не грозит. Но, через неделю после объявления всеобщей мобилизации Мережковские, в кошмарных условиях, уезжают в Биарриц. Там они сравнительно благополучно, проводят три месяца и в декабре возвращаются на свою парижскую квартиру.

Зима 1939-40 проходит под знаком «drôle de guerre» и Скуки с большой буквы, как говорит З. Н. «О, как надоела война, большевики и все вообще!» отмечает она в своей запис-

ной книжке. В январе она заболевает гриппом и больше двух недель не выходит. «Не писала, потому что все то же, лежанье на постели, думанье ни о чем, бледная радость, что я больна, а не он». Но через несколько дней: «Я то ничего — что мне! а вот он, кажется, опять. Кашляет и, верно, температура». «Да, с утра он кашляет», записывает она на следующий день. Она начинает беспокоиться: «Нет, не могу писать. Такая тревога на сердце». Но к первому февраля оба выздоравливают и возобновляют свои ежедневные прогулки.

Каждое воскресенье, перед приемом — у них по старой, еще с петербургских времен, традиции в этот день собираются друзья, — они заходят, гуляя, к маленькой Терезе, в церковь на рю Ля Фонтэн. Они ее нежно любят и верят, что она им в трудные минуты помогает. Перед ее статуей, в их гостиной, — всегда свежие цветы, на которые они не скупятся. Д. С. собирается писать о ней книгу, у З. Н. много посвященных ей стихотворений. Этот культ продолжается до самой смерти Д. С.

Весной 40 г. наступают известные всем события. «Стоячая война» кончена. Немцы занимают Норвегию, Данию, Голландию, Бельгию и вторгаются во Францию. Париж под угрозой. Друзья советуют Мережковским уехать. Они колеблются — у них мало денег. Но к началу июня ход событий ускоряется, и с большой неохотой Мережковские решают ехать опять в «этот поганый Биарриц», как называет его З. Н. Недаром она его так не любит. К счастью, они во-время успевают заказать спальные места и, еще до паники, в среду 5-го июня уезжают.

В Биаррице начинаются мытарства. Город переполнен. Отель «Метрополь», в котором они остановились, через несколько дней после их приезда реквизируют под какое-то бегущее из Парижа правительственное учреждение. Мережковские остаются на улице. Они находят себе приют на одну ночь в пригороде, на вилле, за которую уже дал задаток французский писатель Жорж Дюгамель. Он любезно разрешает им переночевать, но больше не появляется. Вторую

ночь они на вилле у знакомой дамы, где останавливались в прошлый приезд. На третью — в «Maison basque», когда-то хорошем отеле, а теперь — ночлежке для беженцев. Там они застревают надолго. Найти помещение более подходящее и думать нечего, да и денег почти уже нет. Комната в «Maison basque» стоит недорого — 70 фр. в неделю. В крайнем случае можно не платить, — не выгонят.

14 июня немцы вступают в Париж. З. Н. записывает: «Я едва живу от тяжести происходящего. Париж, занятый немцами... неужели я это пишу?» 28-го июня — немцы в Биаррице. «О, какой кошмар! — восклицает она. Покрытые черной копотью, выскочили из ада в неистовом количестве, с грохотом, в таких же черных закоптелых машинах... Почти нельзя вынести». Итог за июнь лаконичен: «Погода все лучше. Черных роботов, отливающих зеленым, все больше. Выношу их все меньше. Наше положение все хуже».

Положение Мережковских, действительно, не блестяще. Деньги — истрачены. Заработка — никакого. Об авансе от французских издателей в этом хаосе не может быть и речи. От заграничных отделяет оккупация. Помогают друзья, но на это не проживешь. Бывают дни, когда вся их еда — кофе с черствыми корками. Бедность, чужбина, немощь и старость. Но к счастью, находится один неизвестный человек, «добрый самарянин», как его называют Мережковские, который их кормит, — носит им то котлеты, то манную кашу, то кисель. Те, у кого есть возможность, приглашают их завтракать либо обедать. Наконец, друзья, чтобы немного им помочь, устраивают под председательством Клода Фаррера чествование по случаю семидесятипятилетия Д. С. Оно имеет успех и приносит чистыми около 7 тысяч франков. Мережковские покидают ненавистный «Maison basque» и переезжают в небольшую виллу «El Recres» где устраиваются на зиму.

Но дней за десять до переезда Д. С., пообедав где-то в гостях, заболевает длительной и неприятной, хотя и не опасной, желудочной болезнью, какой многие в Биаррице болеют. З. Н. от страха совершенно теряет голову. Ей ка-

жется, что это — конец. На «El Recres» у каждого своя комната, но она поселяется в одной с Д. С., чтобы не покидать его и ночью. Кроме как о его здоровье, она ни о чем другом ни думать, ни писать не может: «В вилле хорошо, но ему все нехорошо»... «У него боль». «Уж не выходит, лежит целый день». «То же, то же». «Боль, боль, и ничто не помогает». Так проходит месяц с лишним, пока Д. С. не обращается к хорошему врачу. Тот прописывает верное лекарство и Д. С. начинает понемногу поправляться. З. Н. успокаивается.

Однако, не надолго. Такой зимы, как зима 40-41 г. еще не бывало. Окружающая их атмосфера катастрофы, дышать в которой все труднее, «Прекрасная Дама Бедность», их постоянная гостья, голод, холод — в декабре температура падает до 18 гр. ниже нуля — вечные заботы, вечные унижения и, наконец, болезнь — все это оставляет на Д. С. след. И хотя он легок и бодр почти как прежде, вид у него порой усталый, каменный. Но эта усталость не от жизни, которую он, со всеми ее мелочами, продолжает любить по-детски, а от того, во что ее превратили. «Состарила меня эта война!» повторяет он часто. Утомлена и З. Н. «Призрак конца» преследует ее день и ночь. Она старается его отогнать, отвлечь внимание на другое, но тщетно. Ни полицейские романы, ни маленькая Тереза не помогают.

Я сужен на единой мысли,
Одно я вижу острие.

Даже смерть их близкого друга Д. В. Философова, о которой они узнают случайно, в конце августа 40 г., потрясает ее не так, как если б он умер несколькими месяцами раньше. Что же до других бед, на которые судьба не скупится, то З. Н. к ним, в сущности, равнодушна. Неприятно и досадно, конечно, что их парижская квартира описана за неплатеж и что их выселяют. Неприятно еще и многое другое, но все это сравнительно — пустяки и поправимо. Главное — это, чтобы Д. С. был здоров, не волновался и работал.

И он работает, преодолевая все — голод, холод, болезнь, страх. Его сопротивляемость воистину чудесна: ни своей внутренней свободы, ни ясности мысли он не теряет. В«Maison basque» больной, полуголодный, он кончает первую часть «Испанских мистиков» — «Жизнь св. Иоанна Креста» и начинает вторую — «Жизнь св. Терезы Авильской». Кончив «Испанцев» — уже на «El Recres» — он тотчас принимается за новую книгу — последнюю из цикла «От Иисуса к нам» — о маленькой Терезе. Одновременно он собирает материал для книги о Гёте. По поводу нее он как-то, в шутку, замечает: «Эти святые довольно таки мне надоели. Напишу-ка я об язычнике Гёте». Но, увы! написать о Гёте ему не суждено. Он читает несколько лекций — о Леонардо да Винчи, о Паскале. Последняя вызывает критику правоверных католиков — яростную и невежественную. Лекцию о Наполеоне, объявленную в казино, немцы в последнюю минуту запрещают, — неизвестно почему. Для Мережковских это — шок. Они надеялись немного поправить ею свои дела: она, наверно, имела бы успех. А дела неважны. «Прекрасная Дама Бедность» посещает их все чаще и остается все дольше. Единственный договор, который Д. С. удается заключить — это договор с немецким издателем о новых книгах. Но условия — невыгодные и аванс — ничтожный, с уплатой не сразу, а в три приема. Последних двух взносов Д. С. так и не дождался.

В начале июля 41 г. Мережковских за неплатеж выселяют с «El Recres». Они переезжают в две меблированные комнаты на виллу «Эрмитаж», где провели вторую ночь после выселения из «Метрополя». Хозяйка им верит в долг. Там они остаются около двух месяцев и в сентябре возвращаются, наконец, в Париж для устройства своих дел и спасенья квартиры. Это их последнее путешествие.

В Париж они приезжают 9-го сентября в 9 ч. вечера. Число 9 их положительно преследует. Начало всех бед — война объявлена в сентябре, сентябрь — девятый месяц — 39 г. Первый отъезд в Биарриц — 9 сентября 39 г. Возвра-

щение в Париж — 9 декабря 39 г. Возвращение после второго пребывания в Биаррице — опять 9-го сентября. Но этого таинственного повторения Д. С. не замечает. Он боится «чертовой дюжины» — 13-ти, понедельника и пятницы. Не замечает его и З. Н., особенно внимательная к числам:

За числами слежу я очень зорко,
Как вещий знак дает нам числа Бог.

Между тем, 9-ое сентября — число роковое именно для нее.

В Париже прелестная поздняя осень. Мережковские рады, что дома, в своей, хотя бы и описанной квартире. Снова маленькая Тереза в цветах. Снова, по воскресеньям, они ходят к ней на рю Ля Фонтэн. Но салон их пустует. Друг № 1 — Мамченко, иногда братья Лифари, Зайцевы, Тэффи. Бунина нет в Париже, он на юге, в Грассе. Но объявляется неожиданно новый поклонник Д. С., студент-медик, Николай Журавлев, пишущий французские стихи. Раз или два заходит почтенный белобородый старец, бывший член Думы — Тесленко. Его судьба странно переплетается с последними днями Д. С., как и судьба их давнишнего друга еще по России, князя В. Н. Аргутинского.

Жизнь входит в прежнюю колею. Биаррица как не бывало. Д. С. работает, отдыхает, гуляет. З. Н. по вечерам, в своем «зеленом углу» запоем читает полицейские романы. Но с питанием плохо. Покупать на «черном рынке», где всего вдоволь, нет еще привычки, да и не по карману. Когда-то, 22 года тому назад, в советской России, З. Н. могла еще писать шуточные стихи:

Не только молока и шеколада,
Не только булок, соли и конфет,

Мне даже и огня не очень надо:
Две пары досок обещал комбед.

Теперь — не то. Теперь от «молока и шеколада» зависит их жизнь. Более же всего они боятся холода, — угля нет, а зима на пороге. В октябре Д. С. начинает мерзнуть. Он работает в теплом пальто, ноги — в пледе. Не по средствам и папиросы. От их недостатка Мережковские «позорно» страдают. Но «все это было когда-то». Гуляя раз, при большевиках, в Таврическом саду, З. Н. сочинила экспромтом четверостишие:

Равнодушно глаза прищуриваю
(Это стало моей привычкой).
Золотую папиросу закуриваю
Дорогой серебряной спичкой.

Все повторяется. Прошлое сквозь настоящее просвечивает как сквозь полуистлевший саван — тело мертвеца. То, что сейчас происходит в мире, лишь повторение, в гигантском размере, того, что произошло в России. И все-таки Д. С. от России не отказывается, верит в нее вопреки всему.

Но проходит октябрь, ноябрь, наступает декабрь. Д. С. кончил первую часть «Маленькой Терезы» и пишет вторую. Теперь он работает не у себя, а в гостиной, где теплее. З. Н. около него, в кресле, что-то шьет погруженная в свои невеселые мысли. Иногда он ей читает какой-нибудь удавшийся, как ему кажется, отрывок. «Хорошо?» спрашивает он. З. Н. одобряет не всегда. Если она отвечает: «Плохо» — Д. С. уничтожен. Он спорит, сердится. Однако, на следующий день, а то и в тот же вечер он забракованное исправляет и выходит лучше.

Еще в конце прошлого месяца, в субботу 29 ноября, запись З. Н. внезапно обрывается. Как будто она чувствует близость катастрофы и от ужаса немеет. На этой первой неделе декабря к Терезе они, против обыкновения, идут на два дня раньше, в пятницу, 5-го, тоже как будто чувствуя, что в воскресенье будет поздно. В субботу 6-го, после небольшой прогулки и отдыха в кафе, Мережковские возвращаются домой, обедают и затем Д. С., надев пальто и взяв книгу, — устраивается на диван в гостиной в «Зеленом углу».

У него немного болит голова и мерзнут руки, но нельзя же читать в перчатках. З. Н. рядом, за столом, что-то пишет.

Вечерний чай. Разговор о России. З. Н. своих позиций не сдает: выше России — свобода. Д. С. не возражает: «Да, да, — говорит он, — но это — отвлеченно. Без России мне и свобода не мила». «А мне мила», — сердится З. Н.

Около часу ночи он уходит к себе. У него привычка: вечером перед тем, как лечь спать, он, в столовой, на диване, потушив свет, курит последнюю папиросу. «Что ты здесь делаешь, в темноте?» — спрашивает его как-то З. Н. «Ищу надежду». Но в этот вечер он не курит, — забыл, и на вопрос З. Н. «Что же твоя «папироса надежды?» отвечает: «Все равно, в другой раз».

Он — в кровати. З. Н. заходит к нему попрощаться.

«Мы с тобой по-разному любим, — продолжает Д. С. разговор о России. — Я как Блок: "Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне". Ты этого не понимаешь, прибавляет он. Но это — ничего».

Воскресенье, 7-го декабря. Д. С. встает, как обыкновенно, около 8-ми. Зажигает электрический радиатор и свет в умывальной. Выносит в столовую чашку с недопитым чаем, кладет на камин носовой платок, щетку, гребенку и садится в соломенное кресло около печки. Здесь, после умывания, он будет причесываться, а пока греет руки. Но печка потухает. Надо бы подложить немного угля...

В 8.30 приходит femme de ménage. Она приготовляет кофе, чистит платье и, проходя по коридору, заглядывает через стеклянную дверь в столовую, которую, пока Д. С. умывается, надо успеть прибрать. Она удивлена, что в это утро Д. С. сидит у печки так долго. Но не замечает ничего, ей лишь кажется, что он немного бледнее. Наконец, уже почти в 9 ч. обеспокоенная, она входит в столовую и застает Д. С. в кресле, без сознания. Она бросается к З. Н. в спальню, отдергивает на окне занавески, будит ее: «Venez vite, monsieur est malade». Та, обычно просыпающаяся с трудом, вскакивает: «Oui, je viens, je viens». Вот оно то, чего

она так боялась, это утро подобное тому далекому петербургскому утру, когда умерла ее мать и няничка Даша ее, с такой же поспешностью разбудила: «Скорей, скорей, мамочке дурно».

Накинув теплый стеганный халат, З. Н. бежит в столовую, подходит к Д. С.: «Милый, что с тобой, ты болен?» Д. С. не отвечает. Она приносит одеколон, обтирает ему лицо. Femme de ménage спускается к консьержке, которая по телефону вызывает доктора. Тот приходит через 15 минут. Д. С. переносят в его комнату, укладывают в кровать. Доктор впрыскивает камфору, кладет холодный компресс на сердце, другой на голову. Д. С. часто дышит. З. Н. в своем черном халате, стоит к нему спиной, лицом к иконам. Губы ее что-то шепчут.

Доктор делает второе впрыскивание и уходит, обещая зайти перед завтраком. Надежды никакой: кровоизлияние в мозг. Через полчаса после его ухода Д. С., не приходя в сознание, умирает.

З. Н. выходит из его комнаты. Она очень бледна, но, с виду, спокойна. На письменном столе в гостиной, где со вчерашнего дня приготовлено все для утренней работы, — раскрытая рукопись книги Д. С. о маленькой Терезе. Она обрывается на 13-ой странице:

> «Маленькая Тереза своей обыкновенностью необычайна. Кутается в серую будничность как в серую куколку, тот жалкий червяк, о котором, устами Давида, говорит Сын Божий Единородный, устроивший миры и вечности.
>
> ... Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе (Пс. 21, 7).
>
> Кутается в темную куколку жалкий червяк, чтобы вылететь из нее ослепительно белой, как солнце, воскресшею бабочкой».

Это воскресенье, 7-го декабря — бесконечно. Квартира Мережковских с утра полна народу. Многие приходят, ничего не зная, просто в гости, на воскресенье. Один из таких не-

винных визитеров — Тесленко. З. Н. сидит в полуосвещенной гостиной, в обществе дам. Тесленко садится в столовой. На него никто не обращает внимания. Леонид Лифарь что-то записывает на краю стола. Вдруг Тесленко спрашивает: «А что Д. С. не выйдет сегодня? Он нездоров?»

Когда, ровно через год З. Н. приезжает в церковь на панихиду по Д. С., первое, что она видит — это стоящий посередине гроб. Завтра отпевают Тесленко.

Весть о смерти Д. С. быстро разносится по Парижу, и на следующий день, в понедельник, на панихиде, которую служит двоюродный племянник Мережковских, молодой о. Дмитрий Клепинин, — почти все друзья. Среди них и князь В. Н. Аргутинский. Но в комнату, где лежит Д. С., он не заходит, остается в столовой один: он боится покойников. В среду утром, 10-го декабря — отпевание на рю Дарю и погребение на русском кладбище в С. Женевьев де Буа. Перед службой Т. И. Манухина — жена доктора подходит к З. Н. и шепотом сообщает, что накануне, во вторник, Аргутинский внезапно умер.

II

Зинаида Николаевна без Дмитрия Сергеевича! Это почти нельзя себе представить, как Д. С. без З. Н. Но только смерть могла их разлучить. По-человечески жестоко, по-Божьему, может, и милосердно, что первый умер он, — легко, в одночасье. Что было бы с З. Н. если б он умирал медленно, от тяжелой болезни? Что было бы с Д. С., если б он дожил до ее агонии? Но к постигшему ее удару З. Н. относится по-человечески — не по-Божьему, и переживает его как незаслуженную обиду. Ей даже кажется, что духовно умерла и она: «Пишу теперь, когда **моя** жизнь кончена. Это я ощущаю со знанием», записывает она через 10 месяцев после 7-го декабря. «... Я пока еще живу физически — только, а потому смерти моей другие не видят, не понимают и не могут понять». Но не говорила ли она буквально теми же словами:

«жизнь кончена» и 22 года тому назад? Правда: «Я все знала — и ничего. Теперь только, пережив последнее в жизни, я знаю что-то действительно. То-есть, когда действительно кончилось то, что было моей жизнью». Но действительно ли кончилось? Смерть близкого человека может в любящей душе оставить неизгладимый след, вечную рану, но душу не убивает. Убивает ее только грех. Нет, настоящая трагедия З. Н. в том, что, несмотря на постигший ее удар, — она жива и что неиссякающая в ней сила жизни не находит себе никакого выхода. Она многое могла бы сделать, — своего последнего слова она не сказала. Но в опустевшем для нее, со смертью Д. С., мире ей не на кого и не на что опереться. Да и мир в таком состоянии, что ничего кроме скуки и тошноты в ней не вызывает, — той особой тошноты, какая бывает только в аду и для какой на человеческом языке нет даже слова:

Для тошноты подземной и навечной
Все здешние слова — ничто.

Она замыкается в себе и даже помышляет о самоубийстве. Только «остаток моей религиозности, признается она, (да, остаток, увы, увы! Моя, в сущности, ничтожность не могла устоять перед ударом, ее поразившим) удерживает меня от самовольного ухода из жизни (или и слабоволие?). Но жить мне **нечем** и **не для чего.»** Какое признание! Но не вернее ли, не ближе ли к действительности было бы другое: не **я** хочу себя убить, — **меня** убивают. Да, все ее убивает, все против нее — и люди, и Бог, сама жизнь как бы от нее отказывается. Богу она смерти Д. С. не прощает. Маленькая Тереза — в немилости, под черным покровом и — никаких цветов. К ней на рю Ля Фонтэн, З. Н. тоже больше не ходит и до конца не пойдет. Но в этом бунте много детски-беспомощного. Перед лицом смерти она — беззащитна как малое дитя, которое неизвестно кто и за что обидел:

Не знаю, не знаю, и знать не хочу.
Я только страдаю и только молчу.

Ей холодно и одиноко. Мир для нее — ледяная пустыня, где она замерзает, подобно Каю в сказке Андерсена с «Снежной Королеве».

Как эта стужа меня измаяла,
Этот сердечный мороз.
Мне бы заплакать, чтоб сердце оттаяло,
Да нет слез.

Оно оттает, но не раньше, чем сложится из острых льдинок слово, которое она забыла и не может вспомнить: вечность.

Ей 72 года, но она еще очень моложава и элегантна в своем черном платье. Она, по-прежнему, посвящает много времени своему туалету, выходит, принимает и мало-помалу начинает работать. Ей надо написать книгу о Д. С., ибо только она одна знает и помнит о нем все. И она спешит, так как чувствует, что проживет недолго. Пишет она и стихи — длиннейшую поэму, «Последний Круг», которую без конца переделывает. Но это — ее внешний, «дневной» облик. Свое страдание она скрывает. Оно — тайное, темное, жадное, как неведомое чудовище, которое она кормит своею кровью. По ночам у нее постоянные кошмары. Часто, во сне, она вскакивает, повторяя: «Oui, je viens, je viens», как привидение скользит в столовую, подходит к печке, наклоняется над пустым креслом, где в то утро сидел Д. С. и произносит те же слова: «Милый, что с тобой, ты болен?» Если утром слишком быстро отдергивают в ее комнате оконные занавески, она от этого звука опять переживает все сначала, торопливо вскакивает, путаясь в одéяле, и опять повторяет: «Oui, je viens, je viens». Это длится много месяцев.

Когда 11 ноября 42 г. внезапно, на улице, умирает ее сестра Анна, она записывает в своем дневнике: «С того дня, в ноябре, когда умерла Ася, я каждый час чувствую себя все более оторванной от плоти мира (от матери)». Но эта связь

с «плотью мира», с матерью землей еще не порвана и, может быть, окончательно не порвется никогда:

Всю я тебя люблю, единственная,
Вся ты моя, моя!
Вместе воскреснем за гранью таинственною,
Вместе — и ты и я.

говорит она в одном своем стихотворении о земле. В ее сердце еще теплится надежда на чудо. И это чудо такое простое, такое возможное: «маленький человек с большим горем», как звали З. Н. в детстве, ждет, чтобы его утешила, успокоила мать. Вот и все. «Своей смерти я не понимаю, или, пожалуй, не боюсь ее. Мне надо **быть** в ощутимой любви другого». Но этого чуда, от которого, может быть, оттаяло бы ее сердце, не совершается. Все та же вокруг нее ледяная пустыня и в ней самой — все тот же холод:

Как будто льда обломок острогранный
В меня вложили тайно вместо сердца.

Незадолго до смерти у нее вырывается крик: «Но — мне все равно теперь. Я только и хочу — уйти, уйти, не видеть, не слышать, забыть...» И она уходит, понемножку, полузаметно, — навстречу тому чуду, которое искала и ждала всю жизнь.

Она много работает и, по старой привычке, ночью, выкуривая массу папирос, — спешит с книгой о Д. С. Когда устает писать, принимается за шитье — за починку своего белья, пока от усталости работа не вываливается из рук. Тогда, наконец, она ложится — почти на рассвете. Встает рано. Это в корне подрывает ее здоровье. Сначала у нее опухает правая нога. Ее домашний врач не придает этому большого значения и прописывает какую-то мазь. Но в одно из воскресений, в конце марта 44 г., она, сидя у себя в комнате, за книгой, вдруг, с полным спокойствием, объявляет: «У меня, кажется, начинается паралич». Она жалуется на «му-

рашки» и на онемение правой стороны тела. Ее успокаивают. Однако, вызванный в понедельник утром французский доктор Андрэ находит положение серьезным: склероз мозга, где задеты некоторые центры. От З. Н. это, конечно, скрывают. Она думает, что у нее немеет и болит рука от скверного кровообращения, а скверное кровообращение от слишком узких сосудов, тем более, что кончики пальцев у нее и раньше часто немели. Кроме того, Д. С. последний год так тяжко, во время прогулок, опирался на ее руку, что неудивительно, что рука устала. «Я его буквально на себе носила, — рассказывает она доктору. — Но я не жалею».

Проходит несколько дней. З. Н. пробует продолжать работу — переписывает на машинке свою бесконечную поэму. Но боли в теле и в руке усиливаются, она падает духом, бросает все, даже чтение, и целые дни проводит, лежа на кушетке, в полной неподвижности.

Ее усиленно лечат, хорошо кормят. Вообще, она не испытывает недостатка ни в чем. И мало-помалу она оживает. Через два месяца она не только уже может выходить, но и писать, и если воздерживается, то исключительно потому, что ждет, когда совсем «окрепнет рука». Летом ее состояние улучшается настолько, что в августе, после освобождения Парижа союзными войсками, она пешком отправляется за папиросами под Эйфелеву башню, на американский «черный рынок», и пробродив в толпе около часу, пешком возвращается назад.

Осень и начало зимы 45 г. проходят без перемен, с небольшими колебаниями — ей то немного хуже, то немного лучше. Одно время ее мучают головные боли с левой стороны. Но это проходит. Она понемножку начинает писать — короткие письма — не хочет утомлять руку, бережет ее для книги о Д. С. Письма писать — она великая мастерица и своим эпистолярным искусством славится. Почерк ее почти не изменился, разве что немного неувереннее и мельче, но это, может быть, оттого, что отвыкла рука.

Никаких других перемен в ней не заметно. Она по-преж-

нему верна себе, позиций своих не сдает, держится на них крепко. Перед Богом и Терезой не смиряется. Если болезнь, иногда слишком резко, подчеркивает какую-нибудь ее дурную сторону, она это умело смягчает и равновесие восстанавливается. Дурных же сторон у нее порядочно и свою «изнанку» она отлично видит. Недаром она так часто называет себя «ничтожеством», «дрянью», «пустельгой» и хочет исправиться. В ней не только «потерявшаяся девочка», не сама маленькая Тереза, умирающая от холода полной богооставленности, смотреть на которую почти нельзя без слез, но и ведьма, известная лишь немногим, сохранившим ей верность друзьям... Но им — она известна хорошо. Кстати, верность она ценить больше всего на свете и сама — верна:

Пусть это мне и не в заслугу,
Но я любви не предавал,
Ни Ей, ни женщине, ни другу
Я никогда не изменял.

И это ей непременно зачтется.

Д. С., при всей своей резкости и удивительной иногда неразумности, был мудр и кроток. З. Н. природно умна, но мудрости в ней — ни капли. А что до кротости, то какая кротость у ведьмы! Один почтенный иерарх, член петербургских религиозно-философских собраний, идея которых принадлежит З. Н., называл ее не иначе, как «белая дьяволица». Ничего даже приблизительно дьявольского в ней, конечно, нет, однако какая-то сверхестественная сила, похожая на ту, что владела тургеневской Кларой Милич, владеет порой и ею.

С этой почти святой, полуведьмой — полувампиром, у З. Н., как ни странно и ни страшно, что-то неуловимо-общее? Во всяком случае, и З. Н., подобно Кларе, из жизни уводит:

Прости мне за всех, кого я
Отнял у жизни сей.
Отнял у сна и покоя,
У жен и у матерей.

Разница лишь в том, что Клара уводит «для себя», а З. Н. «не для себя». Так, по крайней мере, она утверждает. Но как — не на словах, а на деле — разделить в любви Божье и человеческое, святое и грешное, высшие интересы и личную выгоду? И до конца ли — ибо все в этом — разделяет в своей душе З. Н., Терезу и Клару, «замерзающую девочку» и влюбленную ведьму? При всей чистоте и святости, Тереза была на волосок от гибели, Клара, несмотря на свою губительную страсть — на волосок от спасения. Они взаимно друг друга уничтожают. Но гибель и спасение у них — одно. Невозможность разделить их в жизни **до конца** и от этого двойственность, смешанность самой жизни — постоянная мука З. Н. «Моя жизнь (не жизнь ли мира?) только **"чаша в руке Господа, и вино кипит в ней, полное смешения".** Этим все сказано».

Но дни бегут. Ничего не происходит, то есть ничего положительного. З. Н., полулежа на своей кушетке, которая стоит теперь у обеденного стола в столовой — единственной теплой комнате в квартире, — перечитывает от скуки «Современные Записки». Но есть у нее и новое развлечение: это кошка. Не какая-нибудь сиамская, а самая обыкновенная, серая с разводами кошка-Машка. В. Мамченко, друг № 1, привез ей как-то из Медона перепуганного крошечного котенка. Он вырос, и хотя З. Н. кошек не любит, к этой привязалась. Кошка не сходит у нее с колен. Она теплая, мягкая — живая. Если она упрямится и не идет, З. Н. ее заманивает:

«Ты — кошка. Ты — хорошая кошка. Поди, поди».

Кошка сначала долго не соглашается, желая показать свою независимость. Наконец, приходит, но как бы совершенно случайно.

В середине марта З. Н. совершает большую неосторожность, ускоряющую ход ее болезни. Она идет к парикмахеру «мыть голову». Но — это предлог. Тайная цель — электрическая завивка. О своей внешности она, ни при каких обстоятельствах, заботиться не перестает. В одной из своих старых

пародий, где она не щадит и себя, она устами «Проходимки» произносит фразу, ставшую в кругу Мережковских классической: «Когда однажды погибала Помпея, я завивала папильотки». Но если она действительно завивает и в день смерти матери, и в день смерти Д. С. и, кажется, способна была бы завивать их в гробу, то — лишь в силу спасительной привычки, помогающей ей в такие минуты, как эти, держаться и не падать духом, на что одной только воли у нее не хватило бы. Уже ничего не соображая, она, каждый вечер перед сном обтирает себе лицо lait de beauté и пытается причесаться без посторонней помощи. И о себе мертвой она думает как о живой: «Когда я умру, говорит она за несколько недель до смерти, пожалуйста, немножно меня подмажьте». Но ее удивительная сила жизни — единственная какою она, по собственному признанию, обладает, не только в духе, но и в теле. Несмотря на свою хрупкость, изнеженность — «тепличность» — она физически крепка. Куда крепче и выносливее Д. С. Давление у нее как у семнадцатилетней, сердце и легкие — в порядке. Другая на ее месте не прожила бы и года!

От парикмахера она возвращается в наилучшем настроении. Но результат завивки не заставляет себя долго ждать. Сухой жар электрического тока подействовал на мозговые сосуды, и через два дня в ее состоянии наступает значительное ухудшение. Толстый том «Современных Записок», который она, лежа после обеда на кушетке, читает, вываливается из рук. Что это? Отчего? Как трудно поднять руку. И нога волочится. Она недоумевает. Ведь все уже было хорошо. В чем же дело? Вызванный, на следующее утро, доктор Андрэ находит затронутыми центры координации движениий. З. Н. успокавают как ребенка: ничего, это скоро пройдет. Но доктор встревожен: болезнь принимает опасный оборот.

Однако, ей опять становится лучше. Но она уже не та — болезнь ее съедает. Писать такой рукой и думать нечего. Двигаться она может лишь по комнатам, да и то с трудом.

Прогулка к парикмахеру была последней. Усиливаются близорукость и глухота. Читать она, впрочем, продолжает без очков, не носит их — до сих пор — из кокетства. Изредка ее навещают друзья. Она встречает любезно, но разговор ее не занимает, вид — отсутствующей, и на вопросы она отвечает невпопад. Ее больше никто и ничто не интересует. Целые дни она проводит на своем диване в гостиной, с книгой и неразлучной кошкой, не покидающей ее ни на минуту.

Так медленно склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему.

В первых числах августа ей снова хуже. «Совсем не плох и спуск с горы». Нет-нет очень плох! Но она не понимает, не сознает, что — это спуск, конец. И чем хуже, тем с большим недоумением она спрашивает: «Что это? Отчего?» только раз у нее мимолетное сомнение: «Может быть это конец?» Но нет — невероятно. За три месяца до смерти, 7 июня, она умудряется нацарапать в своем дневнике — левой рукой — несколько строк — последних: «Я больна и не выздоровлю. Но я еще не умираю и, может быть, долго не умру». Но пусть она своей смерти не видит, не понимает, — «умру и очей ее не увижу» — душа в ней втайне готовится, зная как страшно впасть «в руки Бога живого». И З. Н., этот гордый человек, смиряется. В марте 45 г. она записывает «Внешне все худо (для меня). Все. Но, может быть, по Божьему, оно и не худо — как знать? Мне больно, больно, со всех сторон, но ведь я, может быть, того и стою». Свою последнюю запись, от 7-го июня, она кончает словами: «Я стою мало». И приписывает: «Как Бог мудр и справедлив».

В двадцатых числах августа она начинает испытывать затруднение в речи: «Что со мной? спрашивает она, не переставая удивляться. Я говорить хочу — не могу, я думать хочу — и не могу». Ей кажется, что ее неправильно лечат и что всему причиной доктор, заменяющий отсутствующего Ан-

дрэ. Однажды утром она просыпается и хочет что-то сказать, но произносит одни бессвязные слова. Вечером того же дня она на несколько минут теряет сознание и почти перестает дышать. Когда она приходит в себя, к ней неожиданно возвращается способность речи: «Последняя моя мысль перед тем, как потерять сознание, — рассказывает она, — была: слава Богу — конец. А первая, когда я пришла в себя: какая скука! Опять начинай сначала». Но это лишь краткая передышка, после которой начинается стремительный спуск.

С пятницы, 31 августа, она не только окончательно теряет связность речи, но и почти не может глотать. Однако, за завтраком — ее все же сажают к столу — она с аппетитом выпивает чашку бульона, кое-как проглатывает полкотлеты, картофельное пюре, яблочный мус и кофе. Она выкуривает папиросу и не забывает положить обратно мундштук в стоящую перед ее прибором круглую коробку. Затем отдых. Но к вечеру она, увы! ни слова сказать, ни куска проглотить — уже не может. Доктор Андрэ приезжает чуть ли не прямо с вокзала. «Pauvre madame! » — говорит он. Но она его не слышит, не узнает. Он прописывает вливание физиологического раствора — два раза в день и камфору.

В субботу вечером 1-го сентября о. Василий Зеньковский ее причащает. Она сидит, грустная, за столом в столовой, ничего не понимает, но причастие проглатывает. В воскресенье ее переводят из гостиной в ее комнату. Верная кошка следует за ней.

В этой комнате, небольшой, но светлой, с окном на просторный двор католической школы St. Jean de Passy, ей хорошо. В окно видно небо и верхушки еще нетронутых осенью деревьев. Кругом — тишина, пустота. Все лишнее убрано. Оставлены только кровать, диван, комод с необходимыми вещами, стол и соломенное кресло. Она лежит лицом к окну, под образом Божьей Матери. Когда днем в комнате солнце, ставни прикрывают. От солнца тепло. Чувствует ли она эту теплоту, эту последнюю ласку?

Сверкнет ли мне в последний раз
Ее корона тонкая, сквозная,
Зеленая осенность глаз?

Она лежит неподвижно, высоко на подушках. Иногда стонет, но тихо. Своей здоровой рукой она, как маленькие дети, цепляется за что попало, за одеяло, за полотенце, за ложку, когда ей вливают виноградный с лимоном сок, чтобы в горле не было так мучительно сухо. Она больше ничего не умеет — разучилась — ни слышать, ни видеть, ни говорить, ни думать. Она как маленькая больная девочка — Тереза ли, Клара ли — не все ли равно? Доктор успокаивает, что она не страдает. Однако, она с каждым часом страшнеет.

Время в этой комнате будто остановилось. Каждая минута — вечность. Но оно и летит с головокружительной быстротой. Та же стремительная неподвижность, напряженность и в почти уже неживом теле больной. Нет, не прав доктор — она страдает. Но только не в ней страдание, а она — в нем. Оно ее покрывает, пронизывает насквозь, уносит ее неподвижно-стремительно в неизвестное, как среди вечных льдов огненный поток, в котором очищается, оживает ее душа.

Дойти бы только до порога.
Века, века... и нет уж сил.
Вдруг кто-то властно, но не строго
Мой страшный путь остановил.

Тихое, ласковое утро. Потом такой же тихий, бледно-солнечный день. З. Н. сидит в кровати, ей трудно дышать. Вдруг в ее потухших, невидящих глазах что-то загорается, какой-то свет. Она смотрит, словно каким-то чудом опять стала собой. Но ни слова сказать, ни сделать движения — не может и говорит взглядом. В нем бесконечная нежность, бесконечная благодарность. Две слезы стекают по ее щекам. Вот когда, наконец, оттаяло ее сердце. Еще один взгляд, и она закрывает глаза и умирает.

Ее лицо становится прекрасным. На нем выражение глубочайшего счастья.

И ты придешь ко мне в свой час единственный,
Покроешь темными крылами счастья.

Этот час — 3 часа 33 минуты пополудни. День — воскресенье, 9 сентября 1945 года.

Вл. Злобин

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗДАНИЯ НАШЕГО КНИЖНОГО МАГАЗИНА

1. АВЕРЧЕНКО Аркадий — Избранное. Рассказы. Издание РАСПРОДАНО.
2. АДАМОВИЧ Георгий — Комментарии. Наследство Блока. Поэзия и эмиграция. Невозможность поэзии. 208 стр. 3.00
3. АЛЬТШУЛЛЕР Г. — Дело Тверитинова, истор. роман. Книга 1. 294 стр. 3.25
4. — То же. Книга 2. 316 стр. 3.25
5. БУТКОВ В. — Творчество М.Ю.Лермонтова (Расширенный доклад, прочитанный в нашем магазине). 80 стр. 1.50
6. ВРАНГЕЛЬ Л. баронесса — Воспоминания и стародревние времена. Издание РАСПРОДАНО.
7. ВЕРТИНСКИЙ Александр — Песни и стихи. Издание РАСПРОДАНО.
8. ГЕРШЕНЗОН, М. — Социально-политические взгляды А.И.Герцена. 32 стр. 0.75
9. ГРИГОРЬЕВ АПОЛЛОН — Собрание сочинений, под ред. В.Ф.Саводника. Вып. 11. О национальном значении творчества А.Н.Островского. (Две статьи). Переиздано нашим магазином с издания Братьев Башмаковых, М. 1915. 61 стр. 1.00
10. ГУМИЛЕВ Н.С. — Собрание сочинений, в 4 тт. под ред. проф. Г.П.Струве и Б.А.Филиппова. Том 1 — РАСПРОДАН.
11. — То же. Том 2 — Стихи 1916-1921 гг. и стихи разных лет. (Костер. Огненный столп. Шатер. Фарфоровый павильон. Поэмы.) 7.50
12. — То же. Том 3 — Драматические произведения (Дон-Жуан в Египте. Актеон. Игра. Гондла. Дитя Аллаха. Отравленная туника и стихи разных лет). Вступит. статья проф. М.Сечкарева. 7.50

13. — То же. Том 4 — Рассказы, очерки, литературно-критические и другие статьи. «Записки кавалериста». Вступительная статья В.В.Вейдле. 8.00

14. ЕФРЕМОВ В.Н. — Очерки по истории русской литературы XIX в. 351 стр. 4.00

15. ИВАНОВ В. и ГЕРШЕНЗОН М. — Переписка из двух углов. Издание РАСПРОДАНО.

16. ИВАСК Ю. — Хвала. Стихи. 61 стр. 1.50

17. КАНЕВСКИЙ Д. — На Запад, повесть. 178 стр. 2.00

18. КЛИМОВ Е. — Русские женщины по изображениям русских художников. (Доклад, прочитанный в Джорджтаунском университете, по приглашению нашего магазина). 35 стр. с иллюстр. 1.00

19. КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ В. — Поздний гость. Стихи. Том 1. 234 стр. 3.50

20. — Том 2 — Поэмы, драматич. поэмы. 271 стр. 3.50

21. КТОРОВА Алла — Лицо Жар-Птицы (Очерки неоконченного антиромана). 213 стр. 3.00

22. КОРН Давид — Русский глагол. С предисловием проф. Д.Д.Григорьева. (С русско-англ. и англо-русским словарем). Более 3.000 глаголов. 277 стр. 4.50

23. КУЗНЕЦОВА Галина — Грасский дневник (О И.А.Бунине). 315 стр. 4.50

24. ЛАХМАН Гизелла — Зеркала. 2-ая книга стихов. 74 стр. 1.50

25. ЛЕГКАЯ Ираида — Попутный ветер. Стихи. 61 стр. 2.00

26. ЛУКАШ Иван — Бедная любовь Мусоргского, роман. 193 стр. 3.00

27. МОРТ Виктор — Хэппи энд (невыдуманные рассказы). 185 стр. 3.00

28. МОРШЕН Николай — Двоеточие. Стихи. 70 стр. 1.75

29. ОДОЕВЦЕВА Ирина — На берегах Невы. Воспоминания. (Н.Гумилев, В.Иванов, Ф.Сологуб, А.Ф.Кони и др.) 7.50

30. ПЕТРОВ В.П. — Албазинцы в Китае. Историческая справка. 45 стр. 0.50

31. — Китайские рассказы. 58 стр. 1.00

32. — Российская Духовная Миссия в Китае (Расширенный доклад, прочитанный в нашем магазине). 96 стр. 2.00

33. — Сага форта Росс. Историч. роман, кн. 1. 190 стр. 1.85

34. — То же. Книга 2. 182 стр. 1.85

35. РОБСМАН Виктор — Рассказы и очерки. С предисловием др. В.В.Гзовского. 148 стр. 1.50

36. СЕВЕРЯНИН Игорь — Собрание поэз в 4 томах Переиздание.
Том 1 — Громокипящий кубок. 202 стр. 2.50

37. — » 2 — Златолира. 215 стр. 2.50

38. — » 3 — Ананасы в шампанском. 147 стр. 1.75

39. — » 4 — 147 стр. 1.75

40. СЕЛЕГЕНЬ Галина — Прехитрая вязь. (Символизм в русской прозе: «Мелкий бес» Федора Сологуба). 222 стр. 3.00

41. СОДРУЖЕСТВО. Из современной поэзии Русского Зарубежья. Сборник, в который вошли стихотворения 75 эмигрантских поэтов. С отделом 5.00
«Поэты о себе». 559 стр. (в твердом перепл.). 6.00

42. СОЛОВЬЕВ Всеволод — Хроника четырех поколений. Историч. романы.
— Сергей Горбатов, кн. 1. 329 стр. 2.25

43. — То же, » 2. 258 » 2.25

44. — Вольтерьянец, » 1. 251 » 2.50

45. — То же. » 2. 244 » 2.50

46. — Старый Дом, » 1. 254 » 3.00

47. — То же, » 2. 268 » 3.00

48. — Изгнанник, » 1. 251 » 3.00

49. — То же, » 2. 244 » 3.00

50. — Последние Горбатовы, » 1. 174 » 2.50

51. — То же, » 2. 276 » 3.00

52. СОЛОГУБ Федор — Одна любовь. Стихи. 54 стр. 1.00

53. СТОЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА ПРИХОДА РУССКИХ ЭСКАДР В США. Статьи: В.П.Петрова, А.Г.Тарсаидзе, А. Долгополова. 84 стр. с иллюстр. 1.50

54. ТЕРАПИАНО Юрий — Избранные стихи. 110 стр. 1.50

55. УЛЬЯНОВ Николай — Северный Тальма. К 150-летию взятия русскими войсками Парижа в 1814 г. (Доклад, прочитанный в нашем магазине). 32 стр. 1.00

56. ФЕДОРОВА Нина — Жизнь, роман в 3 книгах.
Кн. 1. 204 стр. 2.50

57. — То же, » 2. 217 » 2.50

58. — То же, » 3. 243 » 2.50

59. ФЕСЕНКО Т. — Глазами туриста. Европейские впечатления. 142 стр. 2.00

60. ФИЛИППОВ Б.А. — Кресты и перекрестки. Очерки и рассказы. 160 стр. 1.50

61. ШИПОВНИКОВ М. — Из чащи промелькнувших лет. Стихи. 66 стр. 2.00

62. — Почти автобиография. Стихи. 70 стр. 2.00

ИЗДАНИЯ, ПЕРЕШЕДШИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ НАШЕГО МАГАЗИНА

63. БЕРТЕНСОН С. — Вокруг искусства. Холливуд. 1957. 413 стр. 3.00

64. ТИМИРЕВ С.Н. — Воспоминания морского офицера. Балтийский флот во время войны и революции 1914-1918. Нью-Йорк. 172 стр. 3.00

65. ЧЕРНОВ А. (составитель) — Народные русские песни и романсы, собранные и изданные А.Черновым, в 2 томах. С нотами начальных мотивов песен. Красивый переплет с тиснением. 2 тома. 7.00